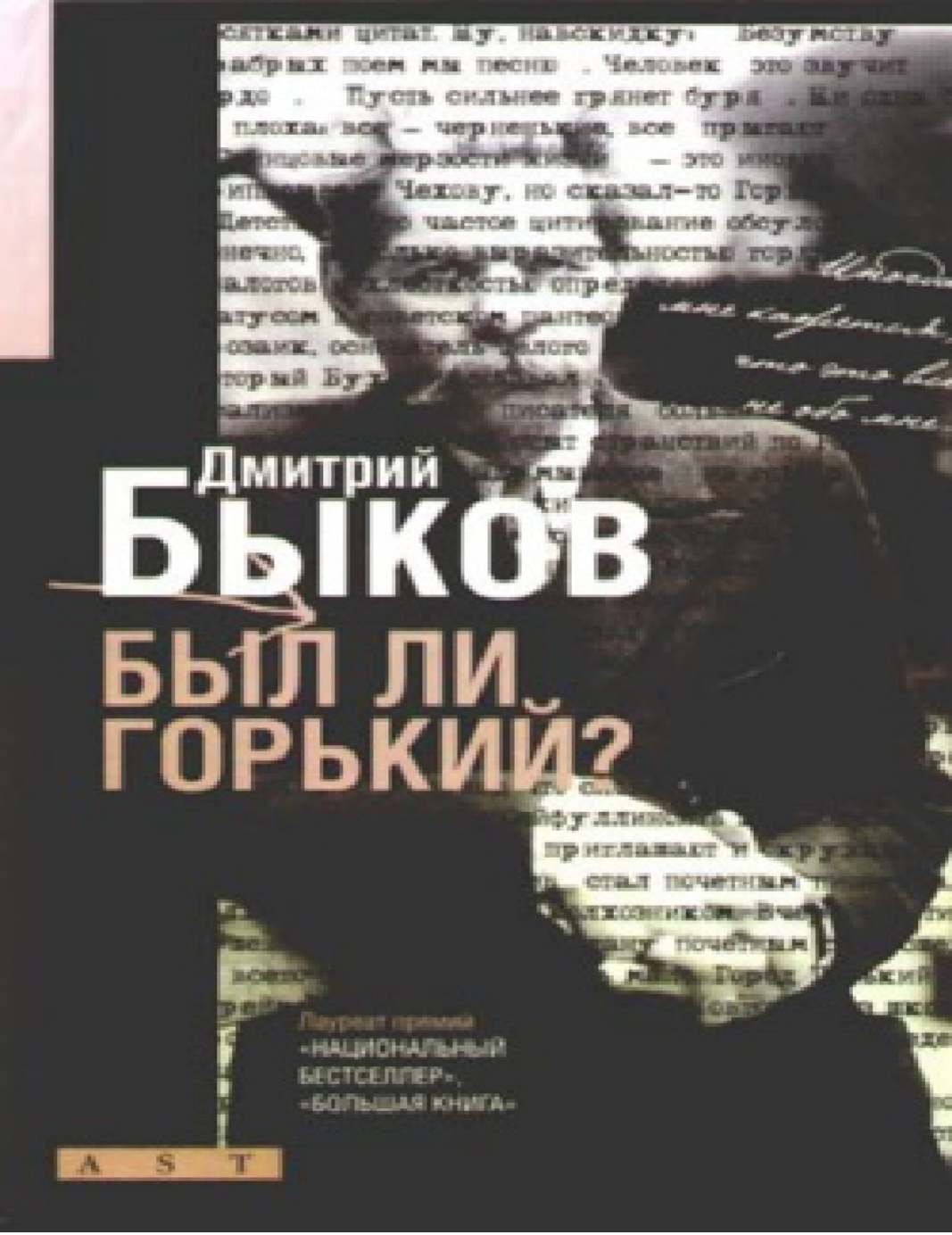


Дмитрий

Быков

Был ли Горький?

Лауреат премии
«Национальный
бестселлер»,
«Большая книга»

A S T

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дмитрий Быков, известный прозаик, поэт, яркий публицист, в своей книге «Был ли Горький?» рисует фигуру писателя-классика свободной от литературного глянца и последующей мифологии.

Где заканчивается Алексей Пешков и начинается Максим Горький? Кем он был? Бытописателем, певцом городского дна? «Буревестником революции»? Неисправимым романтиком? Или его жизненная и писательская позиция подчас граничила с холодным расчетом? Как бы там ни было, Быков уверен: «Горький – писатель великий, чудовищный, трогательный, странный и совершенно необходимый сегодня».

- Дмитрий Львович Быков
  -
  - ОТ АВТОРА
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    -
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

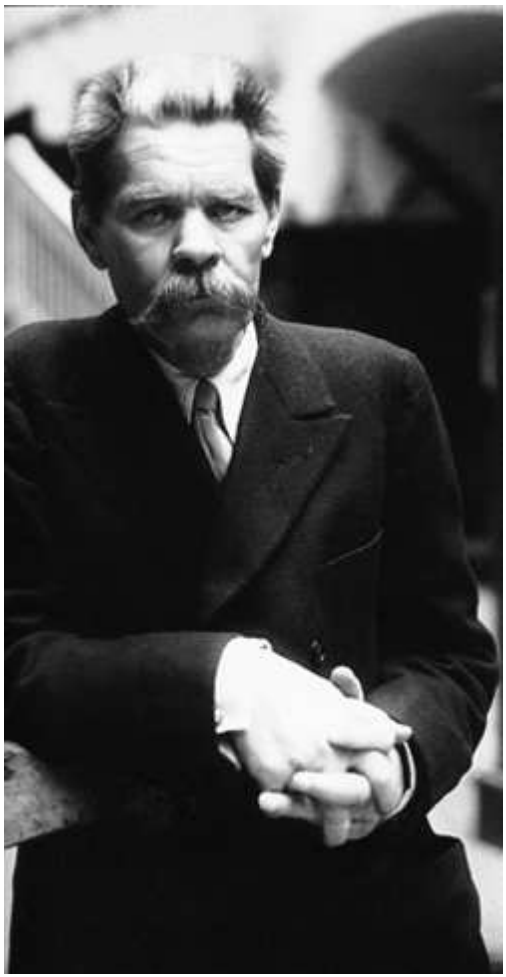
○ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

- 13
- 14
- 15

- ИЛЛЮСТРАЦИИ

Дмитрий Львович Быков
Был ли Горький?



ОТ АВТОРА

Петербургское телевидение предложило мне написать сценарий фильма о Горьком к его 140-летию. Я за эту задачу взялся с радостью, поскольку Горького, со всеми оговорками, всегда любил и занимался им лет с восемнадцати, с курсовой работы по «Рассказам 1922–1924 годов», осуществлявшейся под терпеливым научным руководством Н.А. Богомолова. Огромное количество материала – в том числе недавно изданная книга Павла Басинского в серии «ЖЗЛ», пользующаяся заслуженным успехом, – меня не останавливало, а скорей раззадоривало. Если собрать все качественные тексты о Горьком, включая отзывы современников, – они не перевесят его полного собрания в 60-ти томах (художественные произведения изданы в 1968–1973 гг., публицистика – только после перестройки, а третья серия – письма – не закончена поныне). Да и вообще – от таких предложений грех отказываться, особенно если они исходят от историка Льва Лурье, сотрудничество с которым всегда казалось мне большой честью.

Фильм мы сделали (его поставил мой давний друг, телевизионный режиссер Давид Ройтберг, а редакторами выступили замечательные питерские документалистки Ирина Малярова и Анна Ганшина, которых я, пользуясь случаем, благодарю). В апреле 2008 года он вышел в эфир на Пятом канале, а потом и на диске – и вызвал споры, доказавшие, что списывать Горького со счетов отнюдь не пора. В нашей нынешней сонной оторопи, в почти поголовной летаргии все еще имеет смысл обращаться к последним вопросам, первоисточникам, социальным утопиям и антиутопиям – иными словами, усыпляющая стабильность еще не есть венец общественного развития, и никаким консюмеризмом человеческие потребности не исчерпываются. Горький продолжает будоражить умы, как занимался этим при жизни, – поскольку безошибочным чутьем угадывал самую больную проблему и самого сильного противника. Художественное качество его текстов здесь играет роль второстепенную – хотя по самому строгому счету он войдет в первую десятку русских прозаиков XX века, кто бы ее ни составлял.

Сколь ни ужасно слово «формат», против него не попрешь, и сценарий в процессе работы сократился чуть не вчетверо. Поскольку многое осталось недосказанным, а тема оказалась горячей, – я решил опубликовать очерк полностью, чтобы снять вопросы и высказаться по возможности исчерпывающе. Цель у

меня одна – вернуть широкому читателю большого и сложного писателя, который при всех своих ошибках, отступлениях и заблуждениях всегда учил нетерпимости к скотству. Что-то подсказывает мне, что это хорошо.

Приношу благодарность отделу спецпроектов Санкт-Петербургского телевидения (Пятый канал) за предоставленный иллюстративный материал.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БРОДЯГА

1

Максим Горький обогатил советскую разговорную речь десятками цитат. Ну, навскидку: *«Безумству храбрых поем мы песню»; «Человек – это звучит гордо»; «Пусть сильнее грянет буря»; «Ни одна блоха не плоха: все – черненькие, все – прыгают». «Свинцовые мерзости жизни»*– это иногда приписывают Чехову, но сказал-то Горький, в повести «Детство». Это частое цитирование обусловлено было, конечно, не только выразительностью горьковских диалогов и хлесткостью определений, но и особым его статусом в советском пантеоне: главный советский прозаик, основатель целого литературного метода, который Бухарин назвал «социалистическим реализмом». Большая трудовая биография, огромный опыт странствий по России – все это предписывалось. Выдумывание «из головы» не приветствовалось. Горький навязывался в качестве литератора, деятеля, мыслителя, друга власти, защитника интеллигенции. В тридцатые ходила острота, что все у нас теперь имени Максима Горького. Самолет «Максим Горький». Пароход «Максим Горький». Парк имени Максима Горького. Да и сама жизнь – максимально горькая. Повторяли это не то Стенич, не то Радек, а то будто бы и Олеша, но художник Юрий Анненков, хорошо его знавший, уверяет, что словцо запустил он сам – самоироничность Горького была общеизвестна. Сказал же он Лидии Сейфуллиной в 1933 году:

> *«Меня теперь везде приглашают и окружают – почетом. Был у пионеров – стал почетным пионером. У колхозников – почетным колхозником. Вчера посетил душевнобольных. Видимо, стану почетным сумасшедшим».*

От всего этого осталось очень мало. Город Горький переименован обратно в Нижний Новгород, из школьной программы исключено основополагающее произведение социалистического реализма «Мать», сочинения Горького переиздаются редко и продаются неважно – скажем, полное собрание, подготовленное издательством «Наука» в семидесятые, уходит в букинистическом за тысячу рублей. А из всех горьковских цитат самой употребительной оказалась в результате одна, никакого отношения не имеющая к безумству храбрых или к гордо звучащему человеку. Это фраза из романа «Жизнь Клима Самгина» – помните сцену, когда в проруби тонет одиннадцатилетний Борис Варавка, заклятый враг Клима? Он провалился под лед вместе с тучной, бесцветной Варей Сомовой и

утонул, и что самое странное – его не нашли.

> *«И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос:*
>
> *– Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?»*

Вот этот вопрос «А был ли мальчик?» – и есть самая употребительная сегодня горьковская цитата. Для нее теперь самое время. Сегодня кажется, что иначе мы и не жили никогда, что только так и можно, а любые великие задачи и утопические проекты с необходимостью ведут только к ГУЛАГам и отсутствию ширпотреба в магазинах. Была ли великая русская литература, русская интеллигенция, русская революция? Был ли, в конце концов, сам Горький?

2

Кажется, в СССР, как и в каждой настоящей империи, сознавали недолговечность проекта и силу энтропии, поэтому старались оставить как можно больше памятников. Горький увековечивался множество раз, уступая, пожалуй, только Ленину. Ленин почти всегда ораторствует – то выбросив руку вперед, то засунув в карман, то сжав в кулак и прижав к боку, но все это как бы с трибуны или в крайнем случае с броневика. Все памятники Горькому – молодому ли, старому – изображают его словно остановившимся с разбега, замершим после долгого пути: странствовал человек – и вдруг увидел нечто неожиданное, или, как он любил говорить, «изумительное». Вот и застыл в недоумении, даже сняв шляпу, как петербургский памятник напротив станции «Горьковская», как бы изумляясь делу рук человеческих и запечатлевая все в своей уникальной, всевместительной памяти – сам поражался ее всеядности и мучился ею в старости:

> *«Лет с шестнадцати и по сей день я живу приемником чужих тайн и мыслей, словно бы некий перст незримый начертал на лбу моем: „здесь свалка мусора“. Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть».*

Это из письма к Леониду Андрееву, в ответ на упрек в холодности и замкнутости. И действительно, контраст налицо: люди часто упрекали его в равнодушии – и они же страстно, готовно, при первой возможности выкладывали ему свои биографии и мнения, и он все это верно запоминал, чтобы когда-нибудь изложить. Запомнил, кстати, и за Андреевым, которого считал единственным другом. Странно, что Горький, этот жесточайший, брезгливый реалист, знаток чужих грязных тайн, умудрявшийся в каждом подметить отвратительную или смешную черточку, – всю жизнь проносил ярлык идеалиста и романтика. Хотя что ж тут странного: романтику и положено ненавидеть действительность, он ее не щадит, любя только мечту. Нет больших мизантропов, чем идеалисты. Потому-то столь многие и считали Горького холодным, расчетливым, никого к себе не допускающим, даже Лев Толстой говорил о нем: «Злой, злой. Ходит, высматривает и все докладывает своему неведомому Богу. А Бог у него урод». В последней по времени биографии Горького, написанной Павлом Басинским, содержится даже предположение, что Горький вполне мог быть инопланетянином, заброшенным

сюда для наблюдений и бесконечно чужим всему, что делалось вокруг. То-то и на памятниках он стоит как случайный пришелец, с зоркостью лазутчика и недоумением чужестранца вглядывающийся в нас.

Откуда он пришел?

3

Говорят, люди, взявшие псевдоним, подчеркивают тем изначальную двойственность своей натуры: даже если подлинное имя почти исчезло, заслоненное выдуманным, – маска остается маской. К происхождению горьковского псевдонима мы еще вернемся, но заметим, что пресловутая двойственность стала основой его репутации: мало кого столь часто упрекали в двуличии, двурушничестве и даже двоедушии. Классической в горьковедении стала статья Корнея Чуковского «Две души Максима Горького» – ответ на собственную горьковскую статью «Две души», о разделении России на кровожадную деспотическую Азию и деятельную мыслящую Европу. Трудно сказать, насколько реальный Горький отличался от выдуманного, – биографию свою он излагал многажды, всякий раз с разными деталями, с подтасовками, на которых его ловили, – даже дат рождения у него две. Вспомните, как чествовала его по случаю пятидесятилетия «Всемирная литература» – 16 марта 1919 года. Блок еще записал: «День не простой, а музыкальный. Никогда этого дня не забыть».

Хрестоматийная история его жизни – бродяга, босяк, разнорабочий, выбившийся из нищеты в люди, – тоже не раз подвергалась сомнению. Еще при его жизни Бунин в язвительных мемуарах сводил счеты с былым другом и благодетелем:

«Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? Все повторяют: „Босяк, поднялся со дна моря народного…“ Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: „Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой пароходной конторы, мать – дочь богатого купца красильщика“… Дальнейшее никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю…»

Апофеоз недоверия – в статье Корнея Чуковского «Максим Горький», писанной двадцатью годами раньше:

«Как хотите, а я не верю в его биографию.

Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю.

По-моему, Горький – сын консисторского чиновника; он окончил Харьковский университет и теперь состоит – ну хотя бы кандидатом на судебные должности. И до сих пор живет при родителях, и в восемь часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в семь обедает. От спиртных напитков воздерживается: вредно.

И такая аккуратная жизнь, натурально, отражается на его творениях. Написав однажды «Песнь о Соколе», он ровненько и симметрично разделил все мироздание на Ужей и Соколов, да так всю жизнь, с монотонной аккуратностью во всех своих драмах, рассказах, повестях – и действовал в этом направлении».

И дальше приводит штук десять примеров такого разделения – действительно аккуратного, по линейке.

Ну, начнем с того, что Брокгауз Бунину солгал и что Алексей Максимович Пешков родился в Нижнем Новгороде, в два часа ночи 16 марта 1868 года по старому стилю. Его отец – Максим Савватиевич Пешков, мать – Варвара Васильевна, в девичестве Каширина. В один день с ним родились, кстати, великая русская просветительница Екатерина Дашкова, чешский гуманист Ян Коменский, поэт Мерзляков (автор песни «Среди долины ровныя»), а также старший сын Ивана Грозного Иван – согласно легенде, убитый отцом в припадке гнева. Сам отец, Иван Грозный, в этот день, как известно, умер. Набор, как видим, весьма символический.

Басинский в своей книге проводит версию о том, что именно Алексей Пешков стал причиной краха каширинского рода. В общем, убедительно: в трехлетнем возрасте он заболел холерой и заразил отца, который его выхаживал. Это случилось в Астрахани, куда Максим Пешков с семьей был откомандирован пароходством Колчина: он получил там должность конторщика. После его смерти жена там же, в Астрахани, до срока родила второго сына, которого в честь отца назвали Максимом, – но мальчик родился недоношенным и слабым, он умер по дороге обратно в Нижний и похоронен в Саратове.

> *«Пароход. Глухой шум. Комната. Мимо окон куда-то бежит и пенится очень много воды. Я сижу у окна, круглого, как блин, и смотрю: кроме меня в комнате маленький гробик на столе, среди ее моя мать и бабушка. Я знаю, что в гробе лежит мой брат Максим, родившийся в день смерти отца и умерший через восемь после ее. Этот поступок его указывает на то обстоятельство, что он обладал недюжинным и очень проницательным умом». («Изложение фактов и дум…».)*

Возвращение Варвары Пешковой в Нижний как раз и стало причиной краха каширинского красильного дела: братья перессорились из-за дележа наследства, поскольку не хотели уступать сестре ее законную долю. Тогда Василию Каширину пришлось разделиться с сыновьями, оставив Варвару при себе. Дело от этого зачахло, и красильщик Каширин разорился.

Конечно, никакой вины Алеши Пешкова во всем этом нет – виноват не он, а холера, да и не в холере дело, а в жадности, – однако способность приносить несчастье он заметил за собой рано. С ним в мир словно входили разлад, беспокойство, повевал ветерок из опасных сфер, – не эту ли свою печоринскую особенность, вообще присущую людям одиноким и самостоятельным, он всю жизнь пытался компенсировать, чуть не насильно благотворительствуя направо и налево?

В конце 1871 года Варвара Каширина с сыном вернулась под отцовский кров, и началась та страшно густая, насыщенная, зверская и по сути совершенно адская жизнь, о которой Горький в 1913 году написал едва ли не самую известную свою прозу – повесть «Детство».

4

«Когда читаешь его книгу „Детство“, – писал Чуковский, – кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и право, не их вина, если он не пошел их путем. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накаленный наперсток, как калечить дубиной родную мать, как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери – дядя Яша и дядя Миша – оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, убили его друга Цыганка – и убили не топором, а крестом! В десять лет он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с топором на человека».

Дальше Чуковский выводит из этой беспросветной жизни и детского горьковского бунтарства всю так называемую «горьковщину», романтику бури, которая составила эпоху в русской литературе, – но, думается, здесь корень не столько бунта, сколько другой, куда более важной горьковской черты: вечного, врожденного недоверия к человеческой природе. Иной увидит здесь противоречие: да как же «Человек – это великолепно! Человек – это звучит гордо!» Никакого противоречия нет: для Горького все, что не зверство и не истязание, – уже подвиг. Он рассматривает человека от такого минуса, что любое – даже малейшее – проявление милосердия или самовоспитания начинает ему казаться чудом, достойным слез умиления, которые он и проливал в изобилии по любому поводу. Ведь, если называть вещи своими именами, он вырос под властью патологического садиста. Дед его, Василий Каширин, однажды засекший его чуть ли не до смерти, избивавший бабку в молодости целыми сутками, отдыхавший и снова избивавший, – другого названия не заслуживает. Бабушка его, Акулина Ивановна, – одна из самых обаятельных женщин во всей русской литературе: большая, круглая, толстая, с басовитым голосом, с носом-картошкой, с неисчерпаемым запасом сказок, песен, поверий, с неистребимой лаской ко всем встречным и поперечным, с пристрастием к водке, с нищенской кротостью – из рассказов ее можно понять, что в детстве она побиралась Христа ради, но послушать ее – и это хорошо:

«Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврило-архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, – так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить, земля ласковая, трава бархатная; Пресвятая Богородица цветами осыпала поля, тут тебе радость, тут ли сердцу простор! А матушка-то, бывало, прикроет синие глаза да как заведет песню на великую высоту, – голосок у ней не силен был, а звонок, – и все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить! А как минуло мне девять лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась она и осела на Балахне; кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках – по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести, тороплюсь-учусь, хочется скорее помочь матушке-то; бывало, не удается чего – слезы лью. В два года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла: чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам; ну-ка, Акуля, встряхни коклюшки! А я и рада, мне праздник!»

Страшная симметрия есть во всей этой истории, описанной Горьким в «Детстве», – ведь в конце концов и дед Каширин, державший всю семью в страхе, сойдет с ума и будет побираться. Бабушка это и предрекала.

«– Помяни мое слово: горестно накажет нас господь за этого человека! Накажет…

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

– Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и…

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

– Эх вы-и…»

Именно этот эпизод, пронзительный, слезный, несмотря на весь понятный читательский ужас перед дедом Кашириным, скрыто процитирует Розанов в предсмертном письме к Мережковским: «Творожка хочется, пирожка хочется…» Обратится он и к Горькому, с такой же нищенской мольбой о помощи, – часто о нем думал в эти последние годы; и Горький поможет, да

поздно. Может быть, в детстве исток не столько его бунтарства, сколько мучительной жалости к людям: он столько навидался этой беспомощности, что в просьбах отказывать не мог. Да и ненависть его к слабым людям, которую так часто называли ницшеанской, – она, конечно, не от культа силы, а от того, что Гейне называл «зубной болью в сердце». Горький ведь так и написал в предсмертной записке, готовясь к юношескому самоубийству, не состоявшемуся, слава богу: *«В смерти моей прошу винить Генриха Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце».* Он так мучительно переживал сострадание, так часто говорил о содранной, обваренной коже собственного сердца («кожа сердца» – это его словцо, часто у него встречается), что не мог не возненавидеть страдание во всех его проявлениях, ну, а заодно со страданием – и страдальцев. Босяки ему импонируют тем, что никогда ни на что не жалуются. И бабушка не жалуется – у нее всегда все хорошо. Это не дед с его постоянным визгливым «Эх вы-и-и»…

Горький выучился читать в шестилетнем возрасте, по церковной Псалтыри, под руководством деда, с радостным удивлением обнаружившего: «Память у него, слава богу, лошадиная». Вскоре после этого мать выучила его и гражданской печати: сына она воспитывала от случая к случаю, занималась им редко, нерегулярность этих педагогических вспышек компенсировалась их бурностью. Заставляла его километрами заучивать любые стихи – он и заучивал, благодаря все той же памяти, но противился. Ему постоянно хотелось их коверкать, отсюда постоянная горьковская страсть к переделке, пародии, издевательству над каноническими образцами, – он и свой похвальный лист, полученный в Кунавинском начальном училище 18 июня 1878 года, испортил самодельными надписями, расшифровав НСК (Нижегородское Слободское Кунавинское) как «Наше свинское кунавинское». Действительно, смышленый был мальчик. В училище у него была кличка Башлык – он любил там пересказывать сверстникам истории о разбойнике Максиме Башлыке, о котором часто говорил ему дед.

Из Кунавинского училища ему вскоре пришлось уйти, как и уехать из самого Кунавина – пригорода Нижнего, где он жил с матерью и отчимом. Мать во второй раз вышла замуж, когда ему было восемь лет, забрала к себе, но не любила – признавалась, что любить Алексея не может, потому что видела в нем причину смерти первого мужа, действительно любимого. Максимов был младше Варвары Кашириной, бил ее, скоро довел до чахотки. Однажды Алексей увидел, как отчим замахивается ногой на мать, стоящую перед ним на коленях. Он схватил нож – единственную

вещь, оставшуюся от отца, – и бросился на отчима с намерением зарезать его и тут же зарезаться самому. Мать его удержала, но оставить его в доме уже не могла: он вернулся к деду. Туда же, с маленьким сыном Николаем, переехала и Варвара Каширина: Максимову отказали от места, и он уехал из города. А 5 августа 1879 года мать Горького умерла от чахотки, и вскоре после ее смерти старик Каширин сказал сироте слова, неизменно поражающие добросердечных читателей «Детства»: *«Ну, Лексей, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди…»*

Фразой «И пошел я в люди» завершается эта повесть – финал явно обещает, что «в людях» Алешу ждало нечто еще более ужасное, чем в семье, да так оно и вышло отчасти. До шестнадцати лет, до 1884 года будет продолжаться эта жизнь, наполненная, как напишет он впоследствии, *«мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом».* Кажется, любой труд, кроме радостного, азартного, артельного, творческого, он с тех пор возненавидел: скажем, бесконечно отвращал его труд крестьянский, результаты которого всегда несоизмеримы с затраченными усилиями. Титанически трудоспособный во всем, что касалось его главного ремесла, он от души презирал любую подневольную работу и не находил в ней ни смысла, ни поэзии, чем радикально отличался от певцов народного быта.

5

Уже осенью 1879 года его отдали в «мальчики» в обувной магазин Порхунова на главной улице тогдашнего Нижнего – Большой Покровской. Порхунов запомнился ему как маленький человечек с водянистыми глазами и зелеными зубами, а также с дежурной фразой: «Мальчик должен стоять при двери, как статуй!» Он прислуживал Порхуновым не только в магазине, но и дома, и зимой обварил руку горячими щами, после чего попал в больницу. Пролежав там неделю и прожив лето дома, где все учащались ссоры бабушки с дедушкой, он поступил учеником к чертежнику и строителю Сергееву – правда, чертить ему не довелось: он был там мальчиком на посылках, чистил самовар, колол дрова, мыл полы и лестницы во всей квартире. Жизнь у Сергеевых была невыносимо скучна, и опять все дрались и ссорились, но уже не так грубо и живописно, как в «Детстве», а худосочно, по-мещански. Вот почему повесть «В людях», при всем богатстве материала, не произвела на публику того впечатления, что «Детство», и не имела половины того успеха: в ней очень много скучных людей и нудной работы. Постараемся поскорей миновать этот унылый период: до весны 1880 года Леша Пешков пробыл у Сергеевых, потом сбежал, поступил буфетчиком на пароход «Добрый», который иногда, вопреки своему названию, буксировал по Волге баржи с арестантами – до Камы, до Тобола, до Сибири. На одной из таких барж ехал в сибирскую ссылку Короленко – как раз летом восьмидесятого года, – но Алексей тогда понятия о нем не имел и лишь десять лет спустя явился к нему – уже прославленному журналисту и, по-нынешнему говоря, правозащитнику – с первыми опусами.

Пароходный повар Михаил Акимович Смурый стал в русской литературе фигурой принципиальной: без него никакого писателя Горького не было бы. Это он привил маленькому буфетчику не любовь даже, а страсть к поглощению любых книг в произвольном количестве. Он заставлял Пешкова читать себе вслух – так Алексей ознакомился с «Тарасом Бульбой» и навсегда пленился им. Осенью, однако, рейсы парохода кончились, в ноябре Волга встала, и Пешкова отдали учеником в мастерскую иконописи, к хозяйке, которую он запомнил как мягкую и пьяненькую старушку. Там ему пришлось служить не только иконописцем, но и приказчиком в лавке, торгующей иконами и богослужебными книгами; основной клиентурой были купцы-старообрядцы. Горький вспоминал, что с обязанностями приказчика в свои неполные тринадцать справлялся неплохо, но заманивать

покупателей, лебезить и кланяться не умел совершенно. Здесь он, однако, освоил ряд полезных премудростей: в лавке скупали у крестьян иконы древнего письма и продавали потом богатым старообрядцам за сотни рублей. Оценщик выработал свою систему шифров, чтобы надурить продавца, но намекнуть приказчику на истинную стоимость товара: если он говорил «фальша» – товар был подлинный и стоил до сотни, слова «уныние и скорбь» означали десятку, а проклятие в адрес патриарха Никона «Никон-тигр» – четвертной. «Грехи» – покупай. Думается, наблюдение таких сценок, сопровождаемых бурной божбой, не отвращало Горького от веры, а, напротив, подталкивало к ней – создаст же Господь такое чудо, как человек, во всем диапазоне его мерзости и святости! Другим чудом был приказчик Мишка, способный за два часа ухомячить десять фунтов ветчины, запивая ее пивом; эту забаву Алеша Пешков ненавидел, как и налитых, жирных купцов, державших на Мишку пари. Не исключено, что из устного рассказа о ненасытном приказчике, который Горький часто повторял для друзей, прежде чем вставить в повесть, вырос рассказ Бунина «Захар Воробьев» – о мужике-богатыре, выпившем на пари корец водки и умершем от этого. Некоторые детали – перевод часов, например, – совпадают буквально.

Старообрядчество поначалу очень нравилось Пешкову, но с годами он к нему охладел, возненавидев всякое упорствование в предрассудках.

> *«Эта вера по привычке – одно из наиболее печальных и вредных явлений нашей жизни,* – пишет он в «Моих университетах», – *в области этой веры, как в тени каменной стены, все новое растет медленно, искаженно, вырастает худосочным. В этой темной вере слишком мало лучей любви, слишком много обиды, озлобления и зависти, всегда дружной с ненавистью. Огонь этой веры – фосфорический блеск гниения».*

Отсюда и его богоискательство – поиск новой веры, нового Бога, который еще не существует, но может быть создан. В чем-то эта вера, зародившаяся очень рано, в Нижнем, – сродни учению Николая Федорова, русского космиста, уверенного, что человек рожден выполнить главный божественный завет: осуществить физическое бессмертие и воскрешение всех умерших. Так же и у Горького: Бога еще нет, но можно создать Его по образу и подобию человека, отталкиваясь именно от человечности как от главного чуда. Ход мысли интересный и по-своему логичный – Горький всю жизнь создавал церковь человека, неустанно ища

лучшие образцы человеческой природы. В старообрядчестве его больше всего привлекал нонконформизм, вражда к официальной церкви, – но взамен никонианского гнета она предлагала свой, и это Пешкова никак не устраивало. Вдобавок вокруг слишком много врали.

6

Был в нижегородской жизни Пешкова эпизод, о котором он во всех биографиях умалчивал, но рассказывал критику Аркадию Горнфельду (несчастному карлику-калеке, вошедшему в историю литературы, увы, главным образом скандалом с Мандельштамом, описанным в «Четвертой прозе»). Горнфельд был человек талантливый, отличный переводчик, и уж во всяком случае его свидетельства достоверны. Так вот, он рассказывал философу Аарону Штернбергу, что тринадцати– или четырнадцатилетним подростком Горький зашел к отцу Якова Свердлова, влиятельного большевика, впоследствии председателя ЦИКа. Отец Свердлова Михаил держал в Нижнем граверную мастерскую, у него по поручению хозяйки побывал подросток Пешков, и мастер-гравер вдруг ему сказал: «Ты будешь большим писателем». Он уже мечтал тогда о литературной карьере, но никому ни о чем подобном не рассказывал – его поразил пророческий дар старика, который он впоследствии приписывал всем евреям. Может быть, отсюда и знаменитое горьковское юдофильство, ненависть его к малейшим проявлениям антисемитизма, подчеркнутое уважение к еврейской целеустремленности, национальной солидарности, которой так мало у русских, и т. д. Кстати, официальная версия знакомства Горького с семьей Свердловых относится ко времени Всероссийской хозяйственной выставки, к 1896 году. Впоследствии Горький был крестным отцом старшего брата Свердлова – Зиновия – и дал ему свою фамилию.

Из иконописной мастерской он вернулся к чертежнику и строительному подрядчику Сергееву – после старообрядческой среды ему показалось там даже весело, но три года кряду работать десятником, наблюдая, как сначала строят, а потом разбирают уродливые палатки Нижегородской ярмарки, – было, с его точки зрения, вовсе уж бессмысленно. Иногда он ходил подрабатывать грузчиком в порт и там общался со средой весьма колоритной, навевавшей ему, по собственному признанию, мысли о Брет-Гарте, которого он тоже успел проглотить во время неразборчивого юношеского чтения. Там его образованием занялся бывший студент, а ныне вор и поэт Башкин, автор, кстати, известной песни «Хороша я, хороша, плохо я одета, никто замуж не берет девушку за это». По крайней мере, так утверждает Горький, не приводя никаких доказательств. После неудачной попытки устроиться в ярмарочный балаган он решился уехать в Казань и поступить там в университет. Укрепил его в этой мысли гимназист Евреинов, повторявший: «Вы созданы для служения

науке!»

В Казани он оказался летом 1884 года. Об университете нечего было и думать, как раз в 1884 году по новому университетскому уставу университеты утратили самостоятельность, руководство их перестало выбираться и стало назначаться, – в общем, Александр III укреплял вертикаль власти. Еще в 1881 году министр внутренних дел Лорис-Меликов получил записку от графа Игнатьева – мол, все террористы обучались в университетах, пора кончать с рассадниками террора… Резко – до 15 процентов – сократилась квота на беднейших студентов, обучаемых за государственный счет. Это было следствие той самой политики Победоносцева, которую так горячо воспринял его воспитанник Александр III: не надо нам столько образованной молодежи, в особенности из числа бедняков, именно это и чревато социальными потрясениями! Чревата потрясениями, как легко было догадаться заранее, оказалась именно эта политика искусственного ограничения университетского образования: студенты взбунтовались, с 1899 года пошла череда студенческих стачек, и в конце концов исключенный студент Карпович в 1901 году убил министра народного просвещения Боголепова. Это лучшая иллюстрация к тому, чем кончаются запретительные меры. Короче, университет не светил, и Горький поступил работать в булочную, принадлежавшую Василию Семенову. Семенов был человек интересный – Горький подробно запечатлел его в очерке «Хозяин» и в рассказе «Коновалов». Сохранились и фотографии – на них Семенов толст и добродушен. Из горьковских характеристик видно, что он, в общем, не зверь – а точней, в нем автор подмечает те же две души, что знал и в себе, и вообще в русском народе. Один глаз у Семенова зеленый, второй серый, сам Семенов в зависимости от настроения то зверь, то добряк, и к Пешкову, которого он за громкий голос прозвал Грохало, относится он то опасливо и враждебно, то поощрительно и дружелюбно.

7

В пекарне Пешков выжил, кажется, только благодаря исключительной физической силе. Работа эта была, по его воспоминаниям, из самых изнурительных.

> *«Мое дело – превратить 4–5 мешков муки в тесто и оформить его для печения. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Караваи печеного весового хлеба я нес в лавку Деренкова рано утром, часов в 6–7. Затем накладывал большую корзину булками, розанами, сайками-подковками – два, два с половиной пуда и нес ее за город на Арское поле в Родионовский институт, в духовную академию. У меня не хватало времени в баню сходить, я почти не мог читать, так где уж там пропагандой заниматься!»*

По утрам Пешков относил хлеб в булочную к Андрею Деренкову. Деренков был народник, обладатель лучшей в городе библиотеки нелегальной литературы, студенты наводняли его лавку днем и ночью; впоследствии, кстати, он за свое народничество попал в «лишенцы» и жил в сибирской ссылке, обратился к Горькому за заступничеством, и тот за полгода до смерти выхлопотал ему пенсию.

Народники Пешкова уважали, восхищались, называли самородком, его все это скорее забавляло, и никакого особого народа он не видел, так что не понимал истерического поклонения, которым его окружали эти кроткие бородачи. Тем не менее всю библиотеку Деренкова – частью переплетенную из журналов, частью рукописную – он проштудировал внимательно. Тогда же он начал писать стихи. В пекарне Семенова познакомился он и с одним из самых обаятельных своих героев – пекарем, бродягой, певцом, запойным алкоголиком Коноваловым. Пожалуй, Запад долго еще будет представлять русских примерно такими, как Горький описал Коновалова: в этом рассказе 1896 года окончательно закрепилось множество национальных стереотипов, а поскольку Горький умел писать просто и выразительно – Коновалова запомнили.

> *«А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И все мне в*

ту пору противеет – и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они – не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал…»

Запойный, поющий, тоскующий, огромный, неутомимый, добрый Коновалов – в один миг пропивающий все отложенные деньги, гонимый непонятной своей тоской прочь от всех, кого жалеет и любит, – совсем не похож на горьковских босяков, гордых и озлобленных, действительно выталкивающих себя из жизни. Но не похож он и на крестьян-хищников, на скучных тружеников, больше всего озабоченных выгодой. Коновалов – художник. Этот типаж появился у Горького впервые, да и негде ему было с ним столкнуться до Казани – не так часто он встречается в столь классической чистоте. Конечно, он у Горького додуман, доведен до гротеска, – а все-таки узнаваем мгновенно, и особенно точен автор в главном: этот человек тоже как бы заранее согласился с тем, что он в жизни не нужен. Только это не озлобило его, как босяка, – он мирится с этим совершенно спокойно.

«Я встречал только людей, которые всегда все винили, на все жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости, – они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей… Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он „жертва среды и условий“, тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собой за свою печальную долю… Это было оригинально, но это бесило меня».

Потому и бесило, что в лице Коновалова Горький впервые столкнулся с толстовским, каратаевским типом, с тем маляром Николкой из Достоевского, который и не хочет спасаться, а хочет пострадать; словом, ему впервые встретился тот настоящий русский, о котором столько говорила русская литература. И первым во всей этой литературе Горький наотрез отказался умиляться Коновалову – он решил всем назло показать, до чего доходит его рабское, скотское смирение. Коновалов у него повесился в тюрьме, арестованный за бродяжничество и пересылаемый на родину, в Нижний. И зачем была вся его жизнь – автору решительно непонятно. Здесь и обозначилась главная точка расхождения Горького с русской литературой – не зря

«Коноваловым» открывался его первый двухтомник. Кстати, не став идеальным героем, Коновалов все-таки остался в памяти Горького идеальным читателем: он плакал, когда Пешков читал ему «Подлиповцев» Решетникова, и горячо переживал за мужиков Пилу и Сысойку. Впрочем, давно замечено: или читать – или жить…

8

В 1887 году, 16 февраля, умерла бабушка Акулина, проболев две недели, – упала на паперти, расшибла спину. Дед плакал на ее могиле, пережил ее на три месяца и умер 1 мая. А 12 декабря, купив за три рубля на базаре тульский пистолет с четырьмя пулями, покончил с собой сам Алексей Пешков.

Правда, попытка эта оказалась неудачной – даже изучив в анатомическом атласе строение человеческой грудной клетки, он все-таки промахнулся, сердца не задел, пробил легкое. Но если человек решился на такое и выстрелил, причем ранил себя достаточно серьезно, – можно говорить не просто о попытке самоубийства, а о решительном расставании с прежней жизнью и прежним собой, вне зависимости от того, насколько удачным оказалось покушение. В самом деле, с этого момента для девятнадцатилетнего Пешкова что-то окончилось бесповоротно. Пожалуй, до декабря 1887 года он искренне пытался если не приспособиться к миру – до этого он не снисходил, – то по крайней мере примириться с таким его устройством: неправильным, мучительным, отвратительным, но неизбежным. Раз он до такой степени чувствовал себя чужим всему этому – надо устранить себя. Кстати, в предсмертной записке он попросил вскрыть его тело, чтобы посмотреть, что за черт в нем сидит. К счастью, обошлось, да и черт никуда не делся – просто Пешков после неудавшегося самоубийства сделался другим человеком, твердо решившим не себя устранять, а мир переделать. В бреду он слышит четвертый кондак из великопостной службы: «Ныне время делательное явися, при дверех суд», а когда слышит слова соседа-учителя, умирающего от рака, о том, что надо смириться и не хотеть невозможного, – в нем крепнет *«желание сопротивляться всему, что непонятно, раздражает, и – упрощенным ответам в том числе».* Вообще в рассказе «Случай из жизни Макара», писанном на Капри в 1912 году и явно в ответ на эпидемию самоубийств в России – тогда много об этом писали, ища причины повального самоуничтожения, особенно среди молодежи, – все правда, включая фамилию профессора Студентского, который Пешкова приговорил. «Макар» придуман не ради того, чтобы как-то дистанцироваться от этой истории, а наоборот – чтобы сделать ее более типичной: я, мол, не о себе, я, в сущности, о любом. Кстати, схема будущего горьковского, а покамест пешковского отношения к жизни и смерти в этом рассказе дана очень наглядно: когда Студентский говорит, что раненый и двух дней не проживет, – этот самый раненый хватает

стоящую у постели бутыль хлоралгидрата и начинает из нее глотать: раз помирать, так чтобы уж скорее, всем назло, в том числе и профессору. «Назло» – это очень точный мотив горьковского самоубийства: не хотите жить по-моему, по-человечески, – живите без меня. Как можно оставаться в мире, где профессор при еще живом пациенте вслух, для ординарцев, дает ему смертельный прогноз?! Но после хлоралгидрата его откачали, и на третий день ему захотелось уже не умирать назло этому миру, а жить вопреки ему: близость смерти – серьезная верификация, и она окончательно укрепила Пешкова в мысли, что прав он, а не мир. Убедился он в этом вот как: все две недели своего больничного выздоровления он ждал человеческого слова. Не дождался ни от кого, даже от хорошенькой приказчицы Насти, работавшей в булочной Деренкова: она пришла и принялась рассказывать, как ей было весело вчера кататься с горы с подругами. Но потом вдруг явился добрый старый сторож-татарин, который и спас самоубийцу, заметив его в снегу, – и это единственное человеческое слово перевесило всю злость и скуку мира. А потом явились к нему трое рабочих, пекарь с двумя приятелями, – ничего особо идейного, слава богу, они ему не говорят, просто изо всех сил стараются казаться спокойными и развязными, но и этого довольно, чтобы он почти расплакался. А потом один из них укоризненно шепчет:

– Как же… братцы, говорил… правда, говорил… а сам?

> *«Смеясь, плача, задыхаясь от радости, тиская две разные руки, ничего не видя и всем существом чувствуя, что он выздоровел на долгую, упрямую жизнь, Макар молчал. За окнами густо падал снег, хороня прошлое».*

9

Вот так он и родился заново – на долгую упрямую жизнь. Некоторое время после этого он еще поработал у Семенова, поучаствовал в небольшой забастовке крендельщиков – но они легко примирились с хозяином, а это Пешкова не устраивало. Вскоре он вернулся в булочную к Деренкову, там познакомился с народником Михаилом Ромасем и под влиянием народнической, а отчасти толстовской проповеди отправился в село Красновидово. Ромась был из железнодорожных рабочих, успел побывать в якутской ссылке, Пешкова привлекал немногословием и серьезностью. Заметив, что Пешков не находит себе места, тоскует, явно перерос и рабочую, и студенческую среду и не видит достойного собеседника, – он позвал его пожить в село, где уже год держал лавку и библиотеку. Впечатление Пешкова от Красновидова определило его отношение к деревне на годы: крестьянства он очень не любил, не верил в него и особенно поражался злобе, с которой тут смотрели на чужаков. В первый же свой красновидовский день он думает: «Как-то я буду жить здесь?» Ромась первый сказал ему золотые слова: «Народ любить нельзя». Любить – значит снисходить, прощать, безоглядно восхищаться, а восхищаться нечем – это трезвый народник Ромась видит лучше прочих. Свобода мужикам не нужна – они сами говорят: «При господах лучше жили, к земле мужик не прикреплен». Горький настаивает на точности всего, о чем пишет в «Моих университетах», специально делает сноску, что плохо помнит фамилии мужиков, – но за точность, стало быть, ручается: мужики тоскуют по крепостному праву.

> *«Мужик – царист, он понимает: много господ – плохо, один – лучше. Он ждет, что наступит день, когда царь объявит ему смысл воли. Тогда – хватай кто что может. Этого дня все хотят и каждый – боится, каждый живет настороже внутри себя: не прозевать бы решительный день всеобщей дележки. И – сам себя боится: хочет много, и есть что взять, а – как возьмешь? Все точат зубы на одно и то же».*

Впоследствии, в статье «О русском крестьянстве», написанной в 1922 году, Горький скажет об этом крестьянстве и еще более резкие вещи. Эта статья будет опубликована в России только в 2007 году в журнале «Русская жизнь» – до этого так и останется в берлинском издании, в спецхране.

Единственный мужик, вызывающий у Пешкова искреннюю симпатию, – рыбак Изот, но его убили свои же, просто так, без причины: за то, что не похож на них. Этим бессмысленным убийством весьма символически заканчиваются и красновидовские каникулы Пешкова, и вся его автобиографическая трилогия. Поджигают и лавку Ромася – к счастью, неудачно. Из Красновидова Пешков ушел странствовать – может, одной из причин расставания с Ромасем было и то, что Пешков влюбился в Марью, сестру Деренкова, а она явно предпочла Ромася и действительно вскоре за него вышла.

С 1888 года начались пешковские странствия по Руси – та бродячая жизнь, которая оказалась ненамного слаще оседлой, но нравилась ему гораздо больше. Скитальчество вообще было в его характере, дома он так и не завел. Компанию ему на первых порах составлял обаятельный врун Баринов, бродяга, уверенный, что правда человеку не нужна, более того – что правду он сам себе выбирает. Вероятно, здесь исток горьковского реализма, который с ползучим бытописательством ничего общего не имеет: надо не описывать, а создавать мир.

> *«Бесполезно было сердиться на него, – он видел правду только вне действительности. Однажды, когда я с ним, по пути на поиски работы, сидел на краю оврага в поле, он убежденно и ласково внушал мне:*
>
> *– Правду надобно выбирать по душе! Вон, за оврагом, стадо пасется, собака бегает, пастух ходит. Ну, так что? Чем мы с тобой от этого попользуемся для души? Милый, ты взгляни просто: злой человек – правда, а добрый – где? Доброго-то еще не выдумали, да-а!»*

Этой сентенцией и венчаются «Мои университеты», и это, вероятно, главное, чему Горький в них научился. Хронологическим продолжением автобиографической трилогии должен, видимо, служить цикл «По Руси», сильно напоминающий бродяжьи новеллы Джека Лондона, но, конечно, более мастеровитый, а главное – не в пример более трогательный. О профессиях, которые Горький успел сменить с двадцати лет до двадцати одного, мы знаем главным образом оттуда: он работал на Каспии в артели рыболовов на промысле Кабанкул-Бай, где задумал «Мальву», через Моздок пришел в Царицын, ныне Волгоград, и стал работать на станции Волжской весовщиком, а потом на станции Добринка – сторожем. В это время крупный железнодорожный делец Ададуров выступил с инициативой привлечь интеллигенцию – пусть и ссыльную, и неблагонадежную, – для работы на железной дороге: воровство там царило фантастическое, и порядочные люди были нужны – хотя бы для доносительства. Ададуров искренне верил, что интеллигенция начнет доносить. Горький устроился на Добринку и свел знакомство с несколькими занятными людьми из числа местных служащих, но не ужился, потому что жаловался на местное начальство, хотя и не без иронии. В Борисоглебск он отправлял, например, такие прошения:

> *«Живу я по-прежнему хорошо, с товарищами по службе (сторожами) сошелся, обязанности свои постиг в совершенстве и исполняю их в точности. Начальник станции мною доволен – и, в знак своего расположения и доверия ко мне, заставляет меня каждое утро выносить помои из его кухни. Прошу ответить, входит ли в круг моих обязанностей таскать помои из кухни начальника станции?»*

В результате его из Добринки перевели в Борисоглебск, где он сторожил мешки и брезент, а потом на должность весовщика на станцию Крутую, в двенадцати верстах от Царицына.

Это произошло в конце 1888 года, и именно отсюда он впервые попал в Москву – как ни странно, из-за Льва Толстого. Во время работы на Крутой он с несколькими единомышленниками из числа телеграфистов задумал основать земледельческую колонию. Земли для этих целей решили попросить у Толстого – у него много, неужели не даст молодым толстовцам?

«И вот мы решили прибегнуть к вашей помощи. У вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли. Затем: кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на ваши советы и указания, а также и на то, что вы не откажете нам дать книги: „Исповедь“, „Моя вера“ и прочие, не допущенные в продажу».

Пешков отправился в Тулу – частью на тормозных площадках, частью пешком. В Ясной Поляне Толстого не оказалось – Софья Андреевна напоила бродягу кофием и сообщила, что муж ушел в Троице-Сергиеву лавру. Тоже пешком. Поразительно много бродила тогдашняя интеллектуальная Россия, словно надеясь уморить себя ходьбой до такой степени, чтобы выдуло из головы мучительные мысли. Вероятно, это и называется интеллектуальным брожением.

11

Не застав Толстого в Ясной Поляне, Пешков заехал в Москву, благо уж близко, и тут-то пронаблюдал местный ночлежный быт, описанный в «Стороже». Это один из самых странных и страшных рассказов Горького, рассказ о двух ликах русского эроса, явившихся ему, как нарочно, подряд: первый, звероватый, но радостный, – на станции Добринка, а второй, грязный и садический, – в Москве. Первые московские впечатления Пешкова были вообще нерадостны, поскольку Хитров рынок – вообще не самое веселое место; но с компанией ему как-то особенно повезло.

В первой половине «Сторожа» автор вспоминает Добринку: начальник станции Африкан Петровский, помощник исправника Маслов, мыловар Степахин, жолнерка Леска, казачки и девки со станции – все спиваются, устраивают пьяные оргии (Горький успевает добавить, что все это, конечно, от поклонения красоте, что Петровский дивно поет, а Степахин танцует), кухарка исправника влюблена в машиниста и подмешивает в лепешки свою менструальную кровь, чтобы он, поев этих лепешек, полюбил ее… Но все эти пляски, пьянки и радения на станции меркнут в сравнении с тем, что устраивают бывшие люди в ночлежке, в Москве: в трактире Пешков познакомился с босяком Гладковым и угодил на другое, босяцкое радение – это тоже сексуальная оргия, но уже в ночлежке.

> *«Вошла баба с перебитым носом, совершенно голая, она шла приплясывая, ее дряблое тело вздрагивало, груди кошелями опускались на живот, живот свисал жирным мешком на толстые ноги в лиловых пятнах шрамов и язв, в синих узлах вен. И тут, вспомнив разнузданность „монашьей жизни“ Петровского, я почувствовал, как невинно бешенство плоти здоровых людей, сравнительно с безумием гнили, не утратившей внешний облик человека.*
>
> *Там было некое идолопоклонство красоте; там полудикие люди молились от избытка сил, считая этот избыток грехом и карою, – может быть, бунтуя в призрачной надежде на свободу, боясь «погубить душу» в ненасытной жажде тела.*
>
> *Здесь – бессилие поникло до мрачного отчаяния, до гнуснейшего, мстительного осмеяния того инстинкта, который непрерывно победоносно засевает опустошенные*

смертью поля жизни и является возбудителем всей красоты мира; здесь свински подрывали самый корень жизни, отравляя гноем больного воображения таинственно прекрасные истоки ее.

Но – что же это за жизнь там, наверху, откуда люди падают так страшно низко?»

Суть оргии в том, что голая пьяная баба символизирует могилу, и на нее – как в могилу – укладывают пьяного бывшего студента, совершенно не сознающего, что происходит. Эта параллель – баба и могила – для тогдашнего Горького, как ни странно, актуальна: он многажды намекает на свое юношеское воздержание. Трудно сказать, при каких обстоятельствах и с кем Пешков потерял невинность (есть версия, что это в довольно сентиментальных и целомудренных тонах описано в рассказе «Однажды осенью», где герой с проституткой ночует под лодкой), – но всем знакомым, в том числе психиатру, осматривающему его в Нижнем Новгороде после легкого помешательства, он говорит о своем принципиальном отказе от телесной любви. На что психиатр ему резонно замечает: «Воздержание оставьте другим, вы юноша здоровый. Заведите бабенку пожаднее к любовным играм». Во всяком случае, Горький казанского периода питал отвращение к любым телесным отношениям, не подкрепленным духовной близостью: когда пекарь, балуясь на мешках с мукой с очередной девицей и не забывая, что эта у него за последнее время тринадцатая (вероятно, он считает только тех, кто посещает пекарню), – Пешкова выгоняют за дверь, и он, прислушиваясь к хрюканью пекаря и стонам девицы, думает: «Неужели и я так же?»

«Я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физического слияния, который я знал в его нищенски грубой, животно простой форме, – этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением».

Так он пишет в рассказе «О первой любви». В этом воздержании – тоже нечто сверхчеловеческое, отказ от того человеческого, которое вокруг. И до самого Нижнего, где ему наконец повезло встретить взаимность, Горький относится к сексу как к чему-то омерзительному – к тому, что должно быть преодолено.

12

Из Москвы он в вагоне для скота отправился в Нижний – уже с твердым намерением заниматься литературой; там его ждал первый профессиональный успех, семья и первая слава. Что представлял собою Горький образца 1889 года – о том ярче всего рассказывают две его цитаты, на первый взгляд друг с другом не связанные. Первая из «Времени Короленко»:

> *«В Нижнем жил Каронин; я изредка заходил к нему. Больной Николай Ельпифидорович вызывал у меня острое чувство сострадания.*
>
> *– Может быть, и так, – говорил он, выдувая из ноздрей густейшие струи дыма папиросы, и, усмехаясь, оканчивал:*
>
> *– А может быть, и не так…*
>
> *Речи его вызывали у меня тягостное недоумение, мне казалось, что этот полузамученный человек имел право говорить как-то иначе, более определенно».*

Вот! Здесь он сказался с необыкновенной полнотой, с этой своей чертой впоследствии боролся: замученные, много повидавшие люди имеют право говорить «определенно». Весь свой жизненный опыт Горький использует не только как материал для литературы, а как доказательство своего права на определенность. При этом люди чрезвычайно его не устраивают, и прежде всего – он сам. Разбираться в себе ему страшно, там есть что-то такое, чего лучше не трогать. Вот как он об этом расскажет тридцать лет спустя в рассказе «О вреде философии»:

> *«Все, о чем я говорил, еще – не я, а нечто, в чем я слепо запутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною. Но я не умел и боялся сделать это. Кто и что – я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь – она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я е понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и порою я чувствовал себя способным на преступление из любопытства… Мне казалось, что если я найду себя, – пред женщиной сердца*

моего встанет человек отвратительный, запутанный густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей…»

Вот в этом, пожалуй, он весь: он заглядывает в человека – и не находит там основы, опоры, проваливается в бездну: не видит ничего, что удерживало бы людей от падения. Тем более что этих бездн и падений он насмотрелся. Но мысль о том, что от них ничто не спасет, – еще ужасней самого грубого реализма: вот почему ранний Горький так любит либо романтические сказки о героях, либо этнографические и бытовые зарисовки, но всячески избегает психологии. Страшно сказать, что бы он там увидел – «на дне», «в людях»: весь поздний рассказ «Карамора» – как раз о провокаторе, все пытающемся доискаться до нравственной основы в себе – и не находящем ее. Ничто в его душе не протестует против подлости, он никак не может ужаснуться злодейству – и идет на все большие мерзости, чтобы тем сильней изумиться собственной невозмутимости. Наверное, это самое автобиографичное из его произведений. Горький – человек удивительно свободный, в том смысле, что ни одним из дворянских или интеллигентских предрассудков совесть его не отягчена. Отсюда и небывалая свобода в изображении ужасного, и преступание границ художественного такта: он смог принести в литературу материал, которого в ней прежде не было, но именно это отсутствие внутренних границ мучило его всю жизнь. Может, одобрение воспитательных колоний, которое ему впоследствии так часто ставили в вину, было следствием полного отсутствия этих барьеров: он искал хотя бы внешние ограничители, бросался в несвободу, как другие ищут воли. Отсюда и бродяжничество – тоже поиск пределов; потому всю жизнь и не мог остановиться, искал человека сильнее себя – и не находил. Чистый байронизм с поправкой на эпоху – настоящий байронит в тогдашней России только и мог быть бродягой. Интересно, что тип «лишнего человека» на протяжении нашей истории социально опускается, переходит из дворян в разночинцы, из разночинцев в босяки – видимо, в поисках все большей свободы. А может, просто дворяне перестают быть главным действующим классом – и тогда в других классах, выходящих на сцену, заводятся свои лишние люди: неизменный атрибут здорового общества, где обязаны быть сомневающиеся. Горький – пролетарский Печорин, свидетельство того, что теперь судьбу России будут решать низы. Вот так – от дворян Печорина и Онегина, Бельтова и Рудина, к разночинцам Базарову, Волгину и Молотову, а от них – к Горькому, главному собственному персонажу, не находящему себе места, –

развивалась генеральная линия русской словесности: тема сильного человека, не удовлетворяющегося убожеством русской политики, идеологии и быта. Но чем ниже он падает социально, тем выше – как бы в порядке компенсации – оценивает себя: Печорин себя ненавидит – Горький полагает себя сверхчеловеком. Это тоже любопытный зигзаг литературной истории… но мы отвлеклись.

13

По рекомендации Ромася Пешков явился к Владимиру Короленко – это уже второе пересечение их биографий. В первый раз, как мы помним, они могли встретиться на пароходе «Добрый», увозившем Короленко в ссылку, – во второй раз Пешков пошел к нему с рекомендательным письмом Ромася, который в этой самой ссылке с ним познакомился. Короленко – один из самых душевно здоровых русских писателей, таким, по крайней мере, предстает он в изображении Чуковского, да и Горький вспоминает о нем как о первом нормальном человеке в своей жизни.

«Если бы надо было изобрести писателя, который каждой своею строкою и всем своим существом отрицал бы нас, и наш духовный быт, и нашу литературу, – пишет Чуковский, – то это был бы Владимир Короленко. Его книги как будто созданы для того, чтобы вытравить, искоренить из жизни, из наших душ отчаяние, смерть, кавардак, эту нашу вселенскую тошноту, – и вернуть нам идиллию, детство, и папу, и маму, и нежность. Видя много УЖАСОВ ЖИЗНИ, Короленко совсем не видит УЖАСА ЖИЗНИ».

К этому-то человеку и пришел Горький, который, помимо ужасов жизни и ужаса самого благополучного бытия, еще и несет в душе мечту о безоговорочной отмене этого страшного мира. Он несет Короленко свой первый литературный опыт – огромную поэму в прозе «Песнь старого дуба». Удивительна в людях, многое переживших, эта тяга писать не о том, что они пережили лично, а о говорящих дубах, соколах, чижах, дятлах; сочинять аллегории и сказки – наверное, это и есть тютчевская «стыдливость страданья», а может, дело в том, что ужасное им в жизни надоело. Короленко разругал поэму, но мягко и доброжелательно.

> *«Его мягкая речь значительно отличалась от грубовато окающего волжского говора, но я видел в нем странное сходство с волжским лоцманом – оно было в благодушном спокойствии, которое так свойственно людям, наблюдающим жизнь как движение по извилистому руслу.*
>
> *– Вы часто допускаете грубые слова – должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это – бывает.*
>
> *На обложке рукописи, карандашом, острым почерком было написано:*
>
> *«По „Песне“ трудно судить о ваших способностях, но,*

кажется, они у вас есть. Напишите о чем-либо пережитом вами и покажите мне».

Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы и действительно все время жизни в Нижнем – почти два года – ничего не писал. А иногда очень хотелось.

С великим огорчением принес я мудрость мою в жертву все очищающему огню». («Время Короленко».)

Он в самом деле еще два года ничего не писал. Жил на Жуковской улице, ныне улица Минина, снимая комнату во флигеле. Флигель этот они делили с бывшим учителем Чекиным и бывшим ссыльным Сомовым. Настроения среди тогдашней молодой интеллигенции – главным образом ссыльной, какой в Новгороде было много, – были капитулянтские: господствовала теория малых дел. Предполагалось уже не агитаторство, а культуртрегерство. В том же духе высказывался и Короленко: самодержавие губит Россию, а сменить его некому. Пешков ругал интеллигенцию, считал ее неустойчивой, а культуртрегерство – наивным. Сам он работал в это время в пивном складе, торговал баварским квасом с лотка и разносил его по заказам.

К этому времени относится история, о которой он двадцать лет спустя рассказал в одном из сильнейших своих рассказов «Страсти-мордасти»: этот рассказ дает ясное представление о том, какими настроениями он в это время жил. А впрочем, он и не жил другими, и все его вопросы можно свести к главному, из великого и страшного рассказа «Мамаша Кемских»: «Кому нужны бессмысленные страдания человека?» «Страсти-мордасти» – рассказ о пьянице и сифилитичке, в пятнадцать лет забеременевшей от барина и пошедшей по рукам. Живет она в темном подвале, с восьмилетним сухоногим сыном, который этого подвала почти никогда не покидает: глазастый, прелестный, веселый мальчик, до предела истощенный, занятый главным образом дрессировкой жуков и мокриц, и его двадцатидвухлетняя мать с изуродованным лицом, провалившимся носом, – она даже предлагает рассказчику отблагодарить его за внимание к сыну, которому он принес булок и новых жуков, и обещает закрыть лицо платком, чтобы благотворителю не было противно. Рассказ этот не зря так называется (это колыбельная, которую пьянчужка поет сыну: «Придут страсти-мордасти, принесут с собой напасти. Ой, беда, ой, беда, куда спрячемся, куда?»). Он породил целую традицию в русской литературе – особенно заметную у Людмилы Петрушевской, тоже любящей описывать страшные, темные углы, зверство в сочетании с сентиментальностью. Сантиментов в этом рассказе хватает, и они особенно мощно работают в сочетании со

звериным бытом, на описания которого Горький всегда был мастером. Вот и поди пойми, жизнь ему подбрасывала такие сюжеты или сам он их находил в вечном стремлении заглянуть в самые темные углы? Но уж с культуртрегерством и малыми делами, конечно, все это никак не сочетается. Вопрос только – с чем сочетается, что сделать с людьми, чтобы этого не было? На этот вопрос он не мог ответить и двадцать лет спустя, когда писал рассказ.

14

Сомов, Чекин и Пешков – последний за компанию – находились под постоянным полицейским надзором. Осенью 1889 года в Казани провалилась подпольная типография Федосеева, к работе которой Сомов был причастен. Горький впоследствии характеризовал его как «человека не совсем нормального, но влиятельного среди молодежи». Сомов успел уехать из Нижнего и скрылся – в Нижнем его наверняка взяли бы, – но во флигеле на улице Жуковской устроили обыск, Пешков надерзил жандармам и был впервые в жизни арестован. О нем послали запрос в Казань, оттуда сообщили, что он имел отношение к булочной Деренкова, но никакого серьезного компромата не нашли. Генерал Познанский допросил его крайне доброжелательно, высоко оценил его стихи и побеседовал о певчих птицах.

> *«Генерал – грузный, в серой тужурке с оторванными пуговицами, в серых, замызганных штанах с лампасами. Мокрые, мутные глаза смотрят печально, устало. Он показался мне заброшенным, жалким, но симпатичным, напомнив породистого пса, которому от старости тяжело и скучно лаять. Из книги речей А.Ф. Кони я знал, что дочь его – талантливая пианистка, а сам он – морфинист. Он посылал в Петербург доносы на земцев, Короленко и на губернатора Баранова, который сам любил писать доносы». («Время Короленко».)*

Пешков был арестован 12 октября, а вышел на свободу 7 ноября, по странному совпадению. На другой день, на вечеринке у бывшего ссыльного Кларка Пешков услышал от нелегала Сабунаева: «Тюрьма – необходимая школа для революционера», на что ответил, по собственным воспоминаниям, дерзостью. Ему не хотелось, чтобы кто-то решал за него, какая школа ему необходима, а какая – нет.

Работать на складе Пешкову скоро надоело, он попытался устроиться в контору водочного завода, но там на него бросилась директорская собака, которую он немедленно убил ударом кулака. Естественно, его погнали. Он попытался записаться даже в солдаты – но по причине расширения вен на ногах вследствие грузчицкой работы не прошел, да и продырявленное легкое не понравилось врачу. Хотел устроиться топографом в географическую экспедицию, уехать в Среднюю Азию – не попал как политически неблагонадежный. Весь 1890 год он проработал

письмоводителем у адвоката Ланина, со страстным и болезненным увлечением читая философские труды немцев и французов – без системы и цели. С философией его знакомил один из нижегородских чудаков, типичный горьковский персонаж Николай Васильев, сумасшедший химик.

> *«Он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин – весьма вкусное лакомство. А главное – полезен: укрощает буйство „инстинкта рода“. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум. Доктор, суровый старик, сказал: „Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей“». («О вреде философии».)*

Чтение философов едва не довело Горького до душевной болезни. Воздержанием, голодом, бессистемным чтением он довел себя до состояния, которое впоследствии описал в том же рассказе весьма красноречиво:

> *«На скамье бульвара, у стены кремля, сидит женщина в соломенной шляпе и желтых перчатках. Если я подойду к ней и скажу: „Бога нет!“ – она удивленно, обиженно воскликнет: „Как? А – я?“, тотчас превратится в крылатое существо и улетит; вслед за тем вся земля немедленно порастет толстыми деревьями без листьев, с их ветвей и стволов будет капать жирная синяя слизь, а меня, как уголовного преступника, приговорят быть двадцать три года жабой и чтоб я все время, день и ночь, звонил в большой, гулкий колокол Вознесенской церкви.*
>
> *Все возможно. Только жить невозможно в мире таких возможностей».*

Подобных босховских кошмаров русская литература, почитай, и не знала: главное в них – полное отсутствие системы и смысла. Наскучив подобными видениями, Пешков ранней весной 1891 года опять отправился бродяжить по Руси. Дойдя до станции Филоново Грязе-Царицынской железной дороги, он отправился на юг – на Дон, на Украину, в Крым.

15

В Херсонской губернии под Николаевом, в Кандыбине, 15 июля он чуть не погиб – вмешался в расправу над женщиной и сам был избит до полусмерти. Эта история получила продолжение и вообще оказалась для Горького принципиальной.

> *«По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия. К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно – боком, ноги ее дрожат, подгибаются, ее голова, в растрепанных темно-русых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Все тело ее в синих и багровых пятнах, левая упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах – живот чудовищно вспух и страшно посинел.*
>
> *А на телеге стоит высокий мужик, в белой рубахе, в черной смушковой шапке; в одной руке он держит вожжи, в другой – кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот.*
>
> *Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды – нет, к сожалению, это не выдумка. Это называется «вывод». Так наказывают мужья жен за измену». («Вывод».)*

О дальнейшем Горький рассказывал по-разному. По версии, записанной Николаем Асеевым в Сорренто в ноябре 1927 года, Пешков не надеялся на свои силы – разъяренная толпа не послушалась бы чужака – и побежал к попу, надеясь, что крестьяне послушаются его. Поп в ответ процитировал «Жена да убоится мужа своего» – и Пешков якобы ударил его по лицу. Поп закричал, прибежали мужики – «Нашего попа бьют!» – и измутузили Пешкова, отвлекшись от истязания неверной жены. При этом Горький подчеркивал, что попа в селе ненавидели все, но то, что его посмел бить чужой, было оскорблением

непростительным. Его бросили в кусты, в грязь, где его потом подобрал проезжий шарманщик и отвез в больницу. По другой версии, исходившей от самих кандыбинских крестьян сорок пять лет спустя, в 1934 году, – Пешков сам вмешался в экзекуцию и был избит. Как бы то ни было, в тридцать пятом решено было перепечатать этот старый очерк и сопроводить его светлой картиной новой жизни села Кандыбино. Спецкор «Крестьянской газеты» Татьяна Новикова съездила в Кандыбино; Горький точно запомнил расположение села, где его чуть не убили: источник, корчма, церковь. Церковь теперь стояла без креста и колокольни, с надписью «Клуб». Корчма лежала в развалинах. Собрали стариков, и они подтвердили: да, такое в Кандыбине бывало, и не раз. Женщину звали Горпына Гайченко, ее мужа – Сильвестр. «Он ее бьет, а мы за повозкой бежим, – вспоминал Константин Кальтя. – Нам интересно, что мужик бабу бьет. Потом вижу – на пригорке русявый человечек с усами, в белой рубахе, в соломенной шляпе. Корзиночка, помню, у него была, палку в руке держал. И вот бросает человек корзиночку наземь…» И побежал вмешиваться; но если даже Пешкову и удалось спасти в тот раз Горпыну Гайченко, то помочь прочим было не в его власти. В Кандыбине так развлекались нередко.

После шумного общегосударственного обсуждения проблемы семейного насилия, совершенно искорененного в наше прекрасное время, село Кандыбино было торжественно переименовано в Пешково (согласитесь, Горькое по контексту не звучит, да и пришел он сюда пешком). Апофеозом абсурда, конечно, был бы новый приезд Горького в Кандыбино, сопровождаемый почетными побоями, но Горький в Николаев не поехал, сославшись на недомогания. «Крестьянская газета» перепечатала «Вывод» и параллель к нему – репортаж о том, как молодая женщина, почти девочка, с темно-русыми кудрями, едет по тракту на тракторе. Никто ее не бьет – сама кого хочешь переедет. Любопытно бы сегодня съездить в это село, поспрошать, что там и как. Называется оно, кстати, по-прежнему Кандыбино и расположено в Новоодесском районе Николаевской области. Наверняка там есть старики, помнящие визит корреспондентов «Крестьянской газеты».

Соседом Горького в николаевской больнице оказался прототип Челкаша, рассказавший ему не только «челкашеский» сюжет, но также и историю ограбления и убийства, из которой получилась потом высоко оцененная Чеховым новелла «В степи». Из Николаева, отлежавшись в больнице, Горький отправился в Очаков и занимался добычей соли на Днепровском лимане – работа была адская, люди ненавидели всех – и друг друга, и

чужаков, – и подсунули Пешкову тачку с расщепленными рукоятками: она сорвала ему кожу с ладоней. Там он впервые увидел, что и артельный труд, столь радостно описанный в «Моих университетах», может быть проклятием, и у людей труда плоховато с солидарностью, и чем тяжелей труд, чем он каторжней, тем меньше солидарности. Из Очакова он пошел в Бессарабию, попал к сбору винограда, и эта работа понравилась ему больше прочих. Дойдя до Дуная, он через Аккерман вернулся в Одессу и устроился грузчиком в порт. Там он познакомился с неким Цулукидзе – впоследствии героем рассказа «Мой спутник», где он выведен под именем Шакро Птадзе. Этот грузинский князь попал в Одессу в погоне за ограбившим его другом, друга не нашел, прожился, проелся и не мог вернуться в Тифлис. Пешков вызвался ему в спутники. Пожалуй, этот рассказ из самых обаятельных у раннего Горького – потому что обаятелен и сам спутник, – но отношение Горького к этой жуликоватой породе жизнелюбов, готовых ежеминутно подставить и предать, менялось. В юности оно было вполне добродушным, а в 1919 году он писал вот как:

> *«Множество спутников, подобных Шакро, прошло рядом со мною по различным путям, сбивая меня иногда с моей дороги. Я не жалуюсь на них, не осуждаю себя. Но каждый раз, когда на шею мне садится человек, которого надо было куда-то вынести, я нес его, насколько хватало сил и охоты, нес и вспоминал Шакро. Это – спутник мой. Я могу его бросить, но мне не уйти от него, ибо имя ему – легион. Это спутник всей жизни, он до гроба пойдет за мной…»*

И опять-таки трудно понять – сам ли он выбирал таких спутников или они кидались на него, видя в нем силу и защиту? Наверное, срабатывали оба фактора, просто Горькому и самому нужны были слабые люди рядом – так сказать, для контраста, от противного, ради самоуважения. Несет, а сам примечает, презирает, укрепляется в самооценке. Отсюда и его беспрерывные кампании помощи то голодающим, то начинающим, то первым встречным – вечно сомневаясь в себе, не находя в себе нравственной основы, в чем признавался много раз, он нуждался в таких доказательствах собственной человечности.

В дороге Пешков и Цулукидзе все время спорили. Пешков убеждал князя в преимуществах альтруизма, Цулукидзе – в преимуществах кавказского аристократизма. Все, что заработает Пешков, съедает Цулукидзе, не испытывая ни малейших угрызений совести. Цулукидзе, однако, смеялся над Пешковым, а

на все уговоры пойти заработать хоть на кусок хлеба огрызался: «Я не умею работать!»

> *«Он меня порабощал, я ему поддавался и изучал его, следил за каждой дрожью его физиономии, пытаясь представить себе, где и на чем он остановится в этом процессе захвата чужой личности. Я давал ему есть, рассказывал о красивых местах, которые видел, и раз, говоря о Бахчисарае, кстати рассказал о Пушкине и привел его стихи. На него не производило все это никакого впечатления». («Мой спутник».)*

Как ни странно, дальнейшая схема отношений Пешкова и Цулукидзе, он же Птадзе, весьма точно воспроизводит историю российско-грузинской коллизии: сначала это была бескорыстная дружба, потом попреки и презрение с кавказской стороны, разговоры об утеснениях, завоеваниях, прямые насмешки и полное неприятие того самого культуртрегерства, которым Россия пыталась заниматься на Кавказе. Конечно, Россия – особенно современная – тоже не пряник, а все-таки черты грузинского характера – особенно в части отношения к труду – Горький подметил весьма точно. *«Я выжу, ты смырный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю – почэму? Значит – глупый он, как баран…»*

Не зря Цулукидзе обиделся: он прочел этот рассказ в переводе на грузинский в 1903 году и принес в газету «Цнобис пурцели» («Вестник знания») письмо с опровержением. При этом события были изложены в рассказе Горького так точно, что князь немедленно узнал себя – но не согласился с некоторыми оценками. Сути же он не оспаривал: для него было вполне естественно бросить компрометирующего его приятеля-босяка. Он оставил Пешкова на одной из горбатых тифлисских улочек, сам нырнул в какой-то двор – и поминай как звали. Пешков зашел в дукан, подрался с пьяными кинто, попал в участок и был отпущен лишь после поручительства единственного человека, которого он знал в Тифлисе, – своего царицынского знакомца, бывшего ссыльного Началова. Так начался его грузинский период – бурный и счастливый.

16

Пешков оказался в управлении Закавказской железной дороги, снял комнату в Верийском квартале, успел побродить и по благословенной Грузии – в Боржоми, Батуми, Телави, – поучаствовал в строительстве шоссе Сухуми-Новороссийск и почти беспрерывно писал стихи. Вообще вся его профессиональная одиссея вызывает вопрос: неужели человеку из низов в тогдашней России было в самом деле так трудно пробиться к более-менее приличной жизни? Неужели с вертикальной мобильностью все обстояло так безнадежно? Да нет, как раз с нею-то все было ничего себе, потому что любой талантливый самородок мог рассчитывать на благожелательное внимание мэтров вроде того же Короленко: интеллигенция, одержимая чувством вины перед народом, каждого внимательно читала, пристраивала к делу, отправляла учиться, помогала деньгами… Толстой помогал крестьянским писателям Ляпунову и Семенову, Чехов десятками пристраивал рукописи разночинцев в журналы и лично правил их, а уж сам Горький поставил это дело на широкую ногу. Но даже и те, у кого не было никаких талантов, вовсе не были обречены вечно прозябать в скотских условиях: человек из народа вполне мог подняться на следующую ступеньку социальной лестницы, открыть свое дело, устроиться в городе. Проблема Горького состояла в том, что он-то ни на одном из своих мест закрепляться не хотел; в какой-то момент в ужасе спрашивал себя: «И это жизнь?! И это на всю жизнь?!» – и шел дальше, пока не зажил наконец той жизнью, для которой был предназначен.

В Тифлисе он познакомился со ссыльнопоселенцем Калюжным – как видим, именно политические ссыльные составляли основной круг его знакомств, – и именно Калюжный первым оценил его уникальный дар рассказчика. Он посоветовал ему записать цыганскую легенду, которую Горький любил рассказывать в приятельском кругу, – и рассказ «Макар Чудра» под псевдонимом «Максим Горький» появился в газете «Кавказ» 12 сентября 1892 года. Так вошел в русскую литературу самый странный из прозаиков Серебряного века – человек, видевший такое количество страданий и мерзостей, что тащить их еще и в литературу ему поначалу казалось делом немыслимым.

> *«С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы*

приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море…»

Такова была первая фраза, опубликованная им под новым именем. Он словно хотел начать все с нуля, чтобы его литературная жизнь не имела ничего общего с реальной. Имя – не только память об отце, но еще и указание на максимализм во всем; ну, а Горький – дань дурному романтизму, но что ж поделаешь. Горечи он повидал достаточно.

За следующие пять лет, наполненные непрерывной работой, он стал самым известным писателем России.

17

Ясное дело, человек с врожденным и огромным талантом писателя, вынужденный то печь хлеб, то командовать строительством, будет ненавидеть всякую работу, кроме той, к которой призван, оттого-то при описании всех своих бесчисленных профессий он повторяет как заведенный – скучно… нудно… безысходно… Найди он в себе вкус хоть к одному из этих занятий – с его способностями не составляло бы труда уже через три года выбиться из нищеты; но к подневольному и тем более механистическому труду Горький питал такое отвращение, что, перепробовав массу профессий, все их отверг. Мало было в русской литературе писателей, которые бы так ненавидели рутинную работу, не освященную высшим смыслом, – пожалуй, в этом смысле прямым наследником Горького был лишь Варлам Шаламов, назвавший физический труд проклятием человека. Впрочем, есть у них и еще одно сходство. Оба очень много рассказали о своих страданиях. Между тем человек обычно старается их скрыть, замолчать – ведь унизительно признаваться в том, что тебя мучили. Как правило, в таких вещах признаются лишь тогда, когда желают придать своим словам особый вес: вот, я это пережил, а вы не пережили, – стало быть, я больше понимаю в этом вопросе, не смейте спорить, мое свидетельство неоспоримо…

Горький не уставал подчеркивать свой огромный жизненный опыт, хотя на самом деле подобный опыт был у многих российских прозаиков – хотя бы у Куприна, Андреева, Сологуба, просто они не так подробно его запоминали: не каждый способен носить в голове тысячи людских имен, историй, привычек… Возьмись Сологуб изложить свою жизнь гимназического инспектора, расскажи Андреев всю правду о себе с розановским блаженным бесстыдством – о, какие «Мои университеты» могли явиться потрясенному человечеству! Но есть, по-тютчевски говоря, стыдливость страданья. Ранний Горький еще смягчает свой ужасный опыт иронией, несколько многословной, в духе Марка Твена (тоже, кстати, повидал человек всякого), – поздний все более жесток к читателю, рассказывает вещи все более дикие, страшные, физиологически отвратительные, – для чего?

Он сам разоблачил этот феномен в более чем автобиографичной пьесе «Старик», герой которой искренне полагает, что страдания дают ему право на вечное почтение окружающих. Причем страдания – реальные, не выдуманные, просто герой носит их как медаль. Горький, по-чеховски говоря,

по капле выдавливал из себя Старика – но не преуспел, ибо собственный страшный опыт был нужен ему как окончательная верификация собственных теорий, сложившихся стихийно, еще до всякого опыта. Он как бы проиллюстрировал Ницше, подложил под его тезисы свои доказательства: человек должен быть преодолен. Пусть придет новый человек, пусть его воспитает культура, в чудодейственную силу которой Горький верил абсолютно; пусть сгинет проклятие нетворческого труда; пусть люди создадут Бога. Трудно было Ницше: у него-то не было страшной трудовой биографии и низового происхождения, столь ценимого русской интеллигенцией. Горький всю свою судьбу сложил к ногам кумира для доказательства его идей – и в общем преуспел: его биография служит отличной иллюстрацией большинства ницшеанских тезисов. Отсюда и радостный, победительный, несмотря ни на что, пафос его ранней прозы – пафос преодоления, которому он обязан львиной долей своего успеха.

Многие потом писали, что Горький воспользовался модными учениями, оседлал волну, сыграл на интересе к экзотическим темам, на интеллигентском народолюбии, даже и на большевизме (хотя во времена его дебюта никаким большевизмом не пахло). Особенно усердствовал в разоблачениях Борис Константинович Зайцев – писатель очень небольшого таланта, которому Горький много помогал и который отплатил ему очерком столь клеветническим, мелочным, пристрастным, что на его фоне и бунинский мемуар кажется верхом благородства. И личностями-то Горький окружен сомнительными, и талант-то его невелик, и обязан-то он всем только моде… Между тем популярность Горького была вполне заслуженной. Два тома его «Очерков и рассказов», вышедших в 1898 году и выдержавших десяток переизданий до конца столетия, – и сегодня увлекательное чтение. Читателя, в особенности русского, не обманешь: Горький дебютировал при жизни Толстого и Чехова, Мережковского и Розанова – фон был не самый выгодный; а все-таки канун XX века и первые его годы прошли под знаком Горького. Прежде всего он пишет увлекательно, берет быка за рога, – на фоне некоторой сюжетной дряблости, бессобытийности русской прозы это прямо революция. Здесь прежде если и происходили события, то вялые: уволили, развелся, потерял невинность – быт, да и только. Даже Базаров у Тургенева, на что могучая фигура, ничего не делает: один раз неудачно стреляет на дуэли да еще умирает. У Горького все время что-то происходит: убийства, избиения, аресты, страсти роковые, снохачество, драка отца с сыном, разорение, самоубийство, пожар, подлог… Все густо, а главное – ярко.

Яркость, пожалуй, ключевое слово в разговоре о его ранней прозе: все на грани олеографии, а то и лубка. Сюжеты свои он строит грубо, не особенно заботясь о хорошем вкусе, но всегда поворачивая их так, что из самой кондовой болванки вдруг выходит искусство, пусть и не очень высокого разбора. Никакой тебе акварельной тонкости – но действует безотказно.

Вот, допустим, рассказ «Как поймали Семагу», не лучший у него и не самый известный. Вор сидит в трактире, прибегает мальчик, предупреждает насчет облавы, – вор выходит во вьюжную ночь и шатается по снежным переулкам, прячется по дворам, по сараям и почти уже избегает ареста, но тут слышит слабый писк. Это младенец, подкидыш. Как быть? Семага поднимает ребенка, пытается отогреть, бросает, раскаивается, снова поднимает, плачет от жалости и досады – и несет в участок, что ж делать-то. Там Семагу и арестовывают. Этот сильно написанный рассказ был бы совсем ходулен, кабы не одна деталь: ребенок-то умирает, прямо в участке. То есть подвиг Семаги оказывается бессмысленным. И этот ход – уже метка большого писателя. Дело не в том, что он отказывается утешать, отвергает умилительный конец, – на самом деле здесь присутствует утешение, только более высокого порядка. Бессмысленный подвиг – вдвойне подвиг, и Семага из сентиментального жулика становится фигурой трагической, монументальной, если угодно – ницшеанской.

О связи Горького с учением и стилистикой Ницше писали много, она достаточно очевидна, даже и усы горьковские часто сравнивали с фридриховскими – налицо прямое эпигонство. Но одной славой Ницше в России популярность Горького не объяснишь, да и не был здесь Ницше так уж славен – проповедь силы, здоровья и антихристианства интеллигенцию всегда настораживала. Более того: активно читать и переводить Ницше начали здесь в девяностые годы позапрошлого века, когда мировоззрение Горького уже сформировалось; недовольство человеческой природой и тоску по сверхлюдям не один Ницше испытывал, в России к тому было еще и побольше оснований, чем в Европе. Первый полный Ницше вышел в России в 1900 году, когда Горький уже гремел; «Заратустру» он, конечно, знал в пересказе уже упомянутого Николая Васильева, но первый перевод этой книги, да и то усеченный, вышел в России в 1897 году. Так что без всякого детального знакомства с Ницше Горький принес в литературу главное, что способно обеспечить успех: он пообещал будущее. К исходу девятнадцатого столетия русский человек смертельно устал сам от себя, надоел себе неразрешимыми проблемами, нежеланием жить так, как живет, и

неумением жить иначе. Горький предложил утопический проект – пообещал нового человека. И можно было сколько угодно издеваться над тем, что обнаружил он своего ницшеанца в ночлежке, в одесском порту, в трактире – не все ли равно, кто свидетельствует о будущем? Важно, что оно есть. Есть человек, отвергнувший все традиционные варианты судьбы: подневольный труд, крестьянское нудное выживание, городские беспрерывные унижения, даже и аристократическое праздное вырождение.

В очерке Горького «Бывшие люди» – первом эскизе драмы «На дне» – собраны бывший учитель Филипп, бывший лесничий Симцов (ему Горький подарил свое имя – Алексей Максимович), бывший тюремщик Лука Мартьянов, бывший механик Солнцев, бывший дьякон Тарас, бывший мужик Тяпа и даже бывший богач, чуть не аристократ Аристид Кувалда (у него было состояние, была типография, бюро по рекомендации прислуги, побывал он и в ротмистрах и только после этого скатился на дно). Все эти люди явно противопоставлены тем, кто вписался в жизнь: пусть они у Горького разговаривают так, как никогда не разговаривают люди дна, пусть их длинные иронические монологи отсылают скорее к Диккенсу (вообще в описаниях ночлежек Горький много учился у него), – но вывод-то очевиден: обречены на самом деле не «бывшие», а те, кто никак не желает выпасть из этого отвратительного мироустройства. За бывшими – будущее, за маргиналами – победа, и не зря сам автор прибивается к ним, выведя себя в образе Метеора (оно и понятно – носится всюду, как беззаконная комета).

> *«Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.*
>
> *– Вот я ему сейчас зубы вышибу, – предложил Мартьянов.*
>
> *– А я возьму камень и по голове вас тресну, – почтительно объявил парень.*
>
> *Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.*
>
> *– Оставь его… Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй».*

Да, безусловно родня – ибо тоже человек будущего. (Горький утверждал, что и в самом деле жил в ночлежке Кувалды в Казани, на улице с характерным названием Задне-Мокрая, с июня по октябрь 1885 года, то есть в семнадцатилетнем возрасте.) В этом обществе ему было лучше, чем среди мастеровых. В конце концов,

и проповедь христианства победила и продолжает побеждать не в последнюю очередь потому, что последних объявляет первыми: вы последние здесь, но в новый мир, который настанет неизбежно, вы воистину войдете первыми, и даже уже вошли – ибо вы, в отличие от купца Иуды Петунникова или трактирщика Вавилова, свободны и счастливы. Вот какую проповедь принес Горький – и не сказать, чтобы в России было мало людей, готовых ее поддержать. Уже признанным корифеем, в статье «Как я учился писать», Горький высказался с полной откровенностью:

> *«Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни „обывателей“ говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, а как будто из гордости, из сознания, что живут они – плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет „хорошо“».*

Не будем забывать, впрочем, что это признание 1928 года, когда Горькому уже опять нужно подчеркивать свои неуклонные демократические, даже и люмпенские, симпатии. А, допустим, в 1910 году, когда образ его жизни был вполне буржуазен, а литературная репутация прочна, а мировоззрение очень далеко от марксистского, – он писал так – это из письма к начинающему писателю, конторщику Павлу Максимову:

> *«Русский босяк – явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен человек этот прежде всего невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни…»*

По меркам 1910 года – страшен, а по меркам 1928 года – хорош, потому что и жизнь-то ведь какая?! Страшный мир, который следует разрушить; босяк, конечно, не марксист, но ведь от Ницше до Маркса не так и далеко. А ницшеанец, вооруженный марксизмом, – это и есть идеал русского революционера, и почти все любимые герои зрелого Горького были именно таковы. Впрочем, до зрелости ему еще долго. Но уже и в рассказе «В степи» обнажена изнанка босяцкой свободы – страшное безразличие ко всему и всем, обесценивание жизни, молчание совести. *«Я не виноват в том, что с ним случилось, как вы не виноваты в том, что случилось со мной… И никто ни в чем не виноват, ибо все мы одинаково – скоты».* Правду сказать, для такого самоощущения в застойном 1897 году, во времена уже трещавшей по швам, но все еще гнетущей стабильности, у людей

были все основания.

Правда, у его успеха была и еще одна сторона, весьма характерная для Серебряного века: я говорю о горьковском напряженном эротизме, присутствующем чуть не в каждом втором рассказе. Заметим, что людей дна он изображал без натурализма – и даже не без любования, – но дном не ограничивался: есть у него и мещане, и зажиточные крестьяне, и купцы – вообще полно народу, и почти в каждом рассказе роковая красавица. Самым известным сочинением раннего Горького была «Мальва» – всем запомнилась каспийская Кармен, стравливающая отца с сыном и тайно симпатизирующая босяку Сережке. Чехов упрекнул Горького за откровенность в любовных сценах, Толстой – за психологическую фальшь, но Чехов был эталоном сдержанности, а Толстой часто называл фальшью все, чего не замечал сам или не хотел замечать. Мальва – тот женский тип, который самому Толстому глубоко отвратителен, ей приятно, когда пожилой любовник Василий ее бьет (значит, любит), ей нравится стравливать мужчин, а фантазии у нее вообще странные:

> *«Иной раз села бы в лодку – и в море. Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко их мне, а пуще всех – себя самое, то избила бы весь народ. И потом бы себя… страшной смертью… И тоскливо мне и весело бывает… А люди все какие-то дубовые. Мне иной раз кажется, что если бы барак ночью поджечь – вот суматоха была бы!»*

Это точно, была бы. Ясно, что Толстому такая женщина понравиться не могла – вот он и объявил ее как бы не бывшей, согласно юридической формуле царской России. Страшно подумать, что сказал бы он, скажем, о героине бунинского «Дела корнета Елагина» и о прочих мастерицах, широко представленных в русской литературе XX века с его садомазохистской историей. Женщины Толстого несут и охраняют мир и жизнь – женщины Горького часто приносят разброд и гибель, но очарование их от этого не меньше. Во всяком случае, именно горьковская Мальва стала предтечей роковых советских героинь шестидесятых годов, которые тоже не знали, чего хотят, – но окружающая рутина их категорически не устраивала. Одним из манифестов нового времени стал фильм 1956 года «Мальва», поставленный

Владимиром Брауном. Главную роль там сыграла двадцативосьмилетняя рижская красавица Дзидра Ритенбергс, впоследствии жена главного киногероя шестидесятых Евгения Урбанского: именно после «Мальвы» он на нее, что называется, и запал. До Горького этого типа в русской литературе не было – что-то похожее мелькает в женщинах Достоевского, но они истеричны, больны, а Мальва вызывающе здорова. Их много потом будет – Телепнева и Зотова в «Самгине», Леска в «Сторожеве», Саша в «Фоме Гордееве». Общую их черту точно определит босяк Сережка – «Душа не по телу».

Ко всем этим условиям успеха добавим еще одно, исключительно важное: Горький был трудолюбив и активен, как мало кто в русской литературе. Для примера: «Супруги Орловы», «Мальва», «Бывшие люди», «Коновалов», «Варенька Олесова», «Как меня отбрили» – всего два десятка классических рассказов – написаны с осени 1896 по осень 1897 года, и это не считая непрерывной газетно-журнальной поденщины – святочных, рождественских рассказов, фельетонов, да плюс стихи на случай, да множество писем, да все это на фоне туберкулеза. Продуктивность Горького-писателя сравнима только с жадностью Горького-читателя: глотавший за ночь по книге, он пишет в неделю по рассказу или очерку, и все это солидного объема и ровного, замечательного качества. Не зря Чехов ему написал в это время: «Вы спрашиваете, какого я мнения о ваших рассказах. Талант несомненный, и притом настоящий, большой талант. Меня даже зависть взяла, что это не я написал. Вы художник, умный человек. Вы чувствуете превосходно, вы пластичны, то есть когда изображаете вещь, то видите ее и ощупываете руками! Это настоящее искусство». Дождаться от Чехова столь серьезных комплиментов удавалось немногим.

Особенности горьковского стиля точнее всего явлены в уморительной пародии Куприна, над которой сам Горький – человек обидчивый, несмотря на репутацию скромняги, – заливисто хохотал. Называется она «Дружочки».

«В тени городского общественного писсуара лежали мы втроем: я, Мальва и Челкаш.

Длинный, худой, весь ноздреватый – Челкаш был похож на сильную хищную птицу. Мальва была прекрасна. Сквозь дыры старых лохмотьев белела ее ослепительная шкура. Правда, отсутствие носа красноречиво намекало об ее прежних маленьких заблуждениях, а густой рыбный запах, исходивший от ее одежды на тридцать пять сажен в окружности, не оставлял сомнений в ее ремесле: она занималась потрошением рыбы на заводе купца Деревякина. Но все равно, я видел ее прекрасной.

– Все чушь! – сказал хрипло Челкаш. – И смерть чушь, и жизнь чушь.

Мальва хихикнула и в виде ласки треснула Челкаша ладонью по животу.

– Ишь ты… Кокетка! – промолвил Челкаш снисходительно. – И еще скажу. Влез бы на Исаакиевский собор или на памятник Петра Великого и плюнул бы на все. Вот говорят: Толстой, Толстой… И тоже – носятся с Достоевским. А по-моему, они мещане».

Ну, тут Горькому досталось за статью 1905 года «Заметки о мещанстве» – действительно не особенно удачную. В третьей заметке из этого цикла, опубликованного в горьковско-ленинской «Новой жизни», так прямо и сказано:

> *«Вся наша литература – настойчивое учение о пассивном отношении к жизни, апология пассивности. И это естественно. Иной не может быть литература мещан даже и тогда, когда мещанин-художник гениален. Ожидаю, что идолопоклонники закричат мне: „Как? Толстой? Достоевский?“*
>
> *Я не занимаюсь критикой произведений этих великих художников, я только открываю мещан. Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая – косвенно: проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания…»*

Тут, пожалуй, автор действительно перебрал в полемическом задоре, потому что даже и толстовская проповедь не исчерпывается непротивлением, отрицает только насилие, а с Достоевским все и вовсе неоднозначно. Но вернемся к пародии, которая при всем пиетете Куприна к Горькому – как-никак, «Поединок» посвятил – отражает растущее раздражение против него.

«– Зарезал я одного купца, – продолжал Челкаш сонно. – Толстый был. Кабан. Ну, освежевал я его… Там всяки кишки, печенки… Сальник один был в полтора пуда. Купца ежели резать – всегда начинай с живота. Дух у него легкий, сейчас вон выйдет. Потом пошел я на его могилу. И такое меня зло взяло. „Подлец, ты, подлец!“ – думаю. И харкнул ему на могилу.

– Все дозволено, – произнесла Мальва.

– Аминь, – подтвердил Челкаш набожно, – так говорил Заратустра.

– Падающего толкни, – подумал я, встал, плюнул еще раз и пошел в ночлежку».

Это тоже привет более позднему Горькому, уже не босяцкому. В горьковской повести 1901 года «Трое» Илья Лунев убивает ростовщика, сцена очень грубая, натуралистичная, – да потом еще и плюет на его могилу:

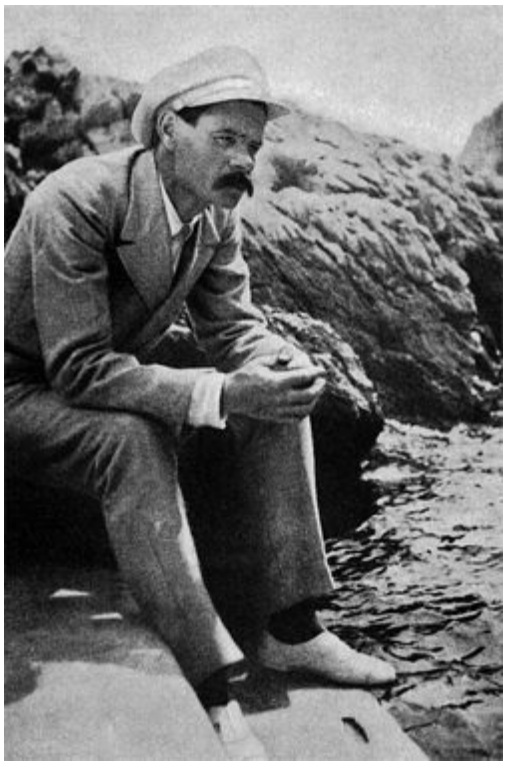
«"Из-за тебя, проклятый, всю свою жизнь изломал я, из-за тебя!.. Старый демон ты! Как буду жить?… Навсегда я об тебя испачкался…"

> *Ему хотелось громко, во всю силу кричать, он едва мог сдерживать в себе это бешеное желание. Он оттолкнулся от дерева, – фуражка с головы его упала. Наклоняясь, чтоб поднять ее, он не мог отвести глаз с памятника меняле и приемщику краденого. Ему было душно, нехорошо, лицо налилось кровью, глаза болели от напряжения. С большим усилием он оторвал их от камня, подошел к самой ограде, схватился руками за прутья и, вздрогнув от ненависти, плюнул на могилу… Уходя прочь от нее, он так крепко ударял в землю ногами, точно хотел сделать больно ей!..»*

Психологически это, конечно, не особенно убедительно, и ничего, кроме омерзения, такой герой вызвать не может, – но ярко, что да, то да.

Впрочем, с точки зрения хорошего вкуса, почти вся великая литература – перебор и избыток.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ИЗГНАННИК



1

Девяностые годы XIX столетия и первая половина девятисотых прошли в России под знаком Горького – с этим не станут спорить и его ненавистники. Такой прижизненной славы не знали даже Пушкин и Толстой – все-таки их читала в буквальном смысле не вся Россия, читательский слой был тонок. Одна из причин горьковской славы, мало кем упоминаемая, а между тем едва ли не главная, – рождение массового читателя: теперь литературу потребляли уже не только дворяне, разночинцы и интеллигенты, но и многомиллионные массы. Родился тот мыслящий пролетариат, о котором мечтал Писарев. Слава Горького совпала с появлением в России качественных и массовых газет. С 1860 по 1900 число их выросло более чем вдвое. Стремительно развивалось книгоиздание. Массовому читателю требовался массовый писатель – не только тот, над которым Горький впоследствии поиздевался в пьесе «На дне», не только сочинитель дешевых лубков о любовных страданиях аристократов, но человек, знающий и преображающий опыт городских низов. Врут, что читатель-плебей интересуется только чужой красивой жизнью: всякому человеку интересней всего он сам, увиденный со стороны. Горький ответил на этот запрос: он стал первым и любимым писателем нового читателя.

В сборниках воспоминаний о нем, регулярно выходивших в советское время, постоянно встречаются слова: «рассказы Горького потрясли меня», «я на всю жизнь запомнил имя Горького», «я испытал восторг и преклонение»… Что же там было особенного? Но примите в расчет, что горьковский читатель только что узнал грамоту, что он, как герой «Моих университетов» рыбак Изот, только что узнал чудо рождения слова, еще едва научился складывать слова – и вдруг этими словами ему ярко и понятно принялись рассказывать о нем, о том, что он ежедневно видел вокруг себя. Сельская Россия еще кое-как находила своих бытописателей – сперва из числа помещиков, потом из числа народников; о низовой, подвальной, трудовой жизни города Горький заговорил первым. Деревни он не любил, в мужиках видел собственников, тупиц, звероватых и крайне консервативных; средой его был город, здесь жил и главный его читатель. Так что в советской формуле насчет пролетарского классика все верно.

Поработав летом 1892 года на строительстве шоссе Сухум-Новороссийск и сходив с механиком Федором Афанасьевым на бакинские нефтепромыслы (эта работа показалась ему самой

тяжелой из всех виденных), Горький вернулся в Тифлис и зажил в подвале на Ново-Арсенальной улице, на квартире, которую они снимали впятером: сам Пешков, Афанасьев, землемер Самет, семинарист Виланов и студент Вартаньянц. Зажили коммуной. Впоследствии к ним присоединился железнодорожный рабочий Богатырович, с которым Горький упрямо спорил: Богатырович утверждал, что в жизни ничего нет хорошего. «А я говорю – есть, только спрятано, чтоб не каждая дрянь руками хватала».

Существуют разные мнения насчет горьковской пропагандистской деятельности в те годы: советское литературоведение, понятно, прочило его в пропагандисты вооруженной борьбы, сам же он в письмах и воспоминаниях говорит лишь о дружеских спорах на абстрактные темы. Никаким марксистом он в то время не был и близко. По воспоминаниям Сергея Аллилуева, впоследствии зятя Сталина, а в девяностые годы – бакинского и тифлисского машиниста, Горький предлагал рабочим записывать то, что их на заводе особенно возмущает, факты вопиющего угнетения и т. д. Деталь характерная – он уже и тогда считал, что записанное слово обладает силой свидетельства, а то и приговора, что фиксация несправедливости сама по себе подтачивает ее. Прозы он в то время почти не писал, зато стихами заполнял целые тетради – и подражал главным образом Байрону: по воспоминаниям Сергея Вартаньянца, он любил вслух читать соседям «Манфреда» и «Каина».

Кстати, именно Вартаньянц сохранил нам яркое описание Пешкова тифлисского периода: он упоминает его могучую фигуру, грубоватые манеры и движения (заметим, грубоватые нарочито, подчеркнуто, даже на фоне тифлисских низов). При этом он и тогда был удивительным рассказчиком – заслушаешься. Поражал контраст его высокопарных стихов, полных общеромантических штампов, – и устных рассказов, в которых ироничный повествователь усиленно подчеркивал наиболее дикие и отвратительные детали. Впоследствии именно игра на этом контрасте станет фирменным знаком Горького. О стихах, которые он тогда сочинял, некоторое представление дает чудовищная – кто бы спорил – поэма «Девушка и смерть», которую он впервые сумел напечатать лишь четверть века спустя, и не по цензурным соображениям, а потому, что такая графомания нигде не могла бы появиться, когда бы ее не подкреплял авторитет прославленного горьковского имени. С «Девушкой и смертью» – единственной сохранившейся поэмой тифлисского периода – вообще вышло забавно: Горький отчего-то питал к ней слабость, как и вообще к своим стихам (вероятно, он так и не простил Ходасевичу честного ответа, что стихи его «никуда не годятся»).

Вещь эту он впоследствии читал Сталину и Ворошилову, посетившим его в 1931 году на даче в Горках, и Всеволод Иванов вспоминал, что Горький ему об этом посещении рассказывал тоном глубоко оскорбленного человека: вожди были пьяны, и сталинская карандашная резолюция на первой странице поэмы звучала откровенно издевательски. Кстати, эти слова по рейтингу цитируемости ненамного отстают от горьковских крылатых фраз. Сталин начертал на развороте: «Эта штука сильнее „Фауста“ Гёте (любовь побеждает смерть)». Наложил резолюцию и поставил дату. Думаю, Горького оскорбило не только слово «штука» (впрочем, нашел кому читать драматическую поэму о любви!), но и сравнение с Гёте, к «Фаусту» которого наивное сочинение Пешкова не имеет никакого отношения, но выглядит на его фоне совершенно пигмейским. «Штука посильнее „Фауста“ Гёте» прочно вошла в советский фольклор и поминалась при любом сильном потрясении, как бытовом, так и эстетическом. Однако мы на этой поэме остановимся – не только потому, что самому Горькому она была исключительно дорога, но и потому, что других образчиков его байронических мистерий у нас нет.

2

Так прочна оказалась в советском литературоведении легенда о Горьком-борце, Горьком-революционере, что объект этой борьбы сам собой сузился: ясное дело, писатель воевал с идеей социальной несправедливости. Между тем поднимай выше – как всякого истинного байронита, его не устраивал сам миропорядок. «Если ваша медицина не может победить смерть, это – плохая медицина», – говаривал он профессору Сперанскому. Ему всегда были близки идеи русского космизма – в частности, федоровская идея обретенного бессмертия, воскресения мертвых: сама смертность человека напоминает о тщете сущего. В предсмертном бреду он, по собственному признанию, записанному Марией Будберг за два дня до его смерти, «с Господом Богом спорил. Ух, как спорил!». Что уж тут кивать на несправедливость социальных отношений – Горький с молодости был бунтарем куда более высокого порядка. Вынь да положь полную переделку мироздания, ни больше ни меньше! Мир, в котором царствует смерть, ужасен уже тем, что она всех уравнивает: *«Не пойму я ничего! – Деспот бьет людей и гонит, а издохнет – и его с той же песенкой хоронят! Честный помер или вор – с одинаковой тоской распевает грустный хор: „Со святыми упокой!“ Дурака, скота иль хама я убью моей рукой, но для всех поют упрямо: „Со святыми упокой!“* («Девушка и Смерть».)

Что это за мир, в котором все смертны? Плохие – ладно, но хорошие?! Кстати, в этой болезненной зацикленности на смерти Горький явно близок к декадентам; мы всегда забываем об одном из важных истоков декаданса – а именно о том, что вырос он отнюдь не из упоения гибелью, а из борьбы с нею. Человек конца золотого девятнадцатого столетия поражается своему могуществу, он победил расстояние, преодолел земное тяготение, самого Бога отважно отрицает – неужели ему не одолеть смерти?! Именно проблема отношения к смерти была ключевой для мирового искусства рубежа веков, именно на этом рубеже возникает безумная утопия Федорова, именно от арзамасского ужаса смерти всю жизнь порывается сбежать Лев Толстой, именно от этой неотступной мысли – весь бунт и все отчаяние Блока: «День как день; ведь решена задача – все умрут». Горький с этим не желает мириться категорически – как же, «в мир пришел, чтобы не соглашаться»! Вопрос не в том, много ли толку от этих несогласий, – а в том, насколько они продуктивны эстетически. Продуктивны, ничего не скажешь: на бунте против самого мироздания, против всей человеческой природы, на желании

заменить прежнего Бога новым, рукотворным, стоит не только вся литература Горького, но и творчество сотен его одаренных последователей. А пролетарская революция – частный случай этого общего бунта, путь к бессмертию.

Любопытно, кстати, что собственную сказочку Горький впоследствии язвительно спародировал в цикле «Русские сказки» 1915 года – сами посудите, очень ведь похоже на цитируемую песенку Смерти: *«Всюду жирный трупный запах смерть над миром пролила. Жизнь в ее когтистых лапах – как овца в когтях орла».* Это произведение декадента Смертяшкина, в котором много личных горьковских черт, – можно даже сказать, это его духовная автобиография: история человека, заделавшегося модным поэтом, а потом понявшего, что это вовсе не его стезя, и вернувшегося к торговле; в некотором смысле история его поэтического поприща так ведь и выглядела, хотя он до тридцатых годов не переставал сочинять стихи и относиться к ним серьезно. А обиделся на эту сказку Сологуб, вообще обижавшийся на что попало. Он даже вызвал Горького на дуэль, и пришлось успокаивать его письмом: это я не о вас и не о вашей жене, это я обо всех… Написать, что о себе, он не решился: не Сологубу же душу открывать!

В конце сентября 1892 года на рыбацкой шхуне Пешков отправился по Каспию в Нижний и вновь устроился на службу к письмоводителю и адвокату Ланину. Там он уже всерьез занимался литературной работой – поражает четкость, оформленность его стиля: первое сочинение этого нижегородского периода, до нас дошедшее, называется «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца», – но это уже законченный Горький или, по крайней мере, тот Горький, которого называют «ранним» (четких хронологических границ нет, условимся считать ранним все, что было до «На дне», то есть до окончательной всемирной славы).

Врут, что ранний-де Горький романтичен, а поздний как-то особенно горек. Что уж такого романтического написал Горький в девяностые? Ну, «Старуху Изергиль», о которой ниже, ну, допустим, песни о Соколе и Буревестнике – и, собственно, все; прочее – грубая реалистическая проза на самом что ни на есть жизненном материале. А то босяков романтизовал – так он и в зрелости романтизовал кого попало, все положительные герои у него без страха и упрека, с чертами Данко. В общем, «Изложение фактов и дум» – это самый настоящий Горький. Его ирония, его книжная, нарочито перемудренная речь, создающая особый комический эффект на фоне сниженной, грубой тематики; его ненависть и мстительность. Он никогда это «Изложение» не

печатал, но всю жизнь хранил (оно появилось в «Горьковских чтениях» 1940 года).

Как и многие автобиографии, не предназначенные для печати – сравним хоть булгаковское «Тайному другу» – «Изложение» написано для Ольги Каминской, героини позднего рассказа «О первой любви», с которой Горький познакомился еще в 1889 году, но тогда их платонический роман быстро закончился – Каминская не захотела уходить от мужа. Зато в 1892 году жена ссыльного Каминского, которого Горький впоследствии презрительно назовет слабым и скучным, похожим на благополучного лавочника, становится главным адресатом его лирики и первым читателем прозы. Каминская была старше Горького девятью годами. После того короткого романа в Нижнем они с мужем уехали в Париж, муж остался там, Каминская вернулась в Россию и оказалась в Тифлисе. Ей стало известно, что там Пешков, она вызвала его к себе, и он, рассказав ей одиссею своих двухлетних странствий, признался, что так и не вылечился от любви. Каминская посоветовала ему уехать в Нижний, сама пообещала подумать, а потом отправиться вслед за ним. Так и вышло. В 1893 году она окончательно ушла от мужа, прихватив дочь, и переехала к Горькому – так у него впервые завелось подобие собственной семьи. Ему казалось особенно символичным – хотя выдумка ли это, правда ли, мы так и не узнаем, – что именно мать Каминской, акушерка, принимала Пешкова-младенца. Кстати, Болеславу Корсаку, второму мужу горьковской возлюбленной (первый сошел с ума), в рассказе «О первой любви» посвящен вполне ницшеанский пассаж:

> *«Ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.*
>
> *– Он такой беспомощный. А вы – сильный! – со слезами на глазах сказала она. – Он говорит: если ты уйдешь от меня, – я погибну, как цветок без солнца.*
>
> *Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи, – там всегда была пища для них. Тут, кажется, впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать бесплодное существование*

осужденных на гибель».

3

Слабых он не любил, это да. Запомним эту откровенную сентенцию – редкую у него, потому что как раз защите и поддержке слабых он будет уделять много внимания; но, видимо, речь будет идти не о слабых по-настоящему, а об униженных и забитых неправильным, уродливым устройством общества. Собственно, слабых героев у Горького немного, и даже падшие его персонажи достойны более зависти, нежели жалости. Такой же приговор слабости выносится в его знаменитом рассказе «Каин и Артем» – там босяк до поры до времени защищает еврея, а потом вдруг отказывается от этой благородной миссии. Что толку защищать того, кто никогда не сможет постоять за себя?! Горький – писатель в высшей степени гуманный, но альтруизма мы у него не найдем. Погибнуть за всех людей, за обобщенное счастье человечества, как Данко, – это пожалуйста, тут цель великая; но отказаться от своего счастья ради чужого благополучия – это увольте. Рисковать стоит ради сильных, которым почему-либо трудно, – а слабых спасать бессмысленно.

Так они зажили с Каминской в Нижнем, но идиллии не вышло: все, что можно было снять за два рубля в месяц, – банька при доме спившегося попа, который вел с Пешковым беспрерывные теологические дискуссии, одновременно пытаясь споить и его. Чтобы работать – а сочинял Пешков по ночам, – приходилось накручивать на себя всю одежду и сверху еще ковер; так у Горького завелся ревматизм, от которого он до конца жизни не избавился. Вообще «О первой любви» – довольно мстительный рассказ: написан он в 1922 году, когда Горький вообще расплевывался с последними иллюзиями, и понятно, что с тридцатилетней дистанции он весьма резко отзывается о бывшей возлюбленной. То ему кажется, что всю мудрость жизни ей заменил учебник акушерства, то – что она была слишком прожорлива (организовала общество «жадненьких желудочков», наслаждалась сычугом с гречневой кашей), то ему видится в ней цинизм. А между тем именно ее мудрость оказалась в его жизни главной:

> *«Ты слишком много философствуешь, – поучала она меня. – Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно осложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого – не достигнешь ничего».*

И в чем ее неправота? Вся горьковская апология культуры, все его мечты об украшении жизни, в сущности, только к этому и сводятся. Коренной-то переделки, о которой он мечтал и на которую так много поставил, не получилось. Поэтому уже в первом десятилетии XX века все его упования – на культуру, на смягчение грубости жизни, на украшение неисправимого. Но женщине, да еще любимой, он такого снижения простить не мог. Заметим, кстати, эту параллель между бунинской «Ликой», в которой он вспоминал о любви к Варваре Пащенко, и горьковским рассказом «О первой любви». Считается, что Бунин был писателем жестоким, сухим, безжалостным, чуждым всякому романтическому флеру, – Горький же до конца дней якобы оставался сентиментальным, романтичным, склонным к украшательству и лакировке; но как убийственна разница между пылкой, отчаянной финальной частью «Жизни Арсеньева» – и горьковским сардоническим рассказом! Тут вообще главная разница, изначальное различие не в амплуа даже, а в психотипах: материал, казалось бы, сходный – юношеская любовь к более зрелой и опытной женщине, любовь несчастная (а первая почти всегда несчастна, иначе она, простите, скучна и плоска). Бунин свою Лику до сих пор боготворит, сходит с ума от ревности, страстно ее жалеет – отлично сознавая всю пошлость ее вкусов, недалекость, полуграмотность даже; Горький всячески расписывает красоту, изящество и ум первой возлюбленной – но говорит о ней с такой обидой и таким высокомерным скепсисом, что и в тогдашнюю его любовь не очень веришь. Что хотел он ее сильно – само собой, что любовался ее весельем, изяществом и некоторым даже шиком – очень видно; но страстью тут не пахнет, не говоря уж о любви. Все-таки он был человек холодный, более всего озабоченный поиском чего-то небывалого – а все человеческое решительно его не удовлетворяло; любить он мог только то, чего не бывает, только то, что стояло бы во всех отношениях выше, чем он. (Вот почему, кстати, его так высоко ценила Гиппиус – сама такая же.) Отсюда его страсть к железным женщинам, тайная тяга к благоговению и подчинению – но, как легко предвидеть, существа сильнее его попадаются редко, оттого и влюблен по-настоящему он был в жизни всего дважды, и не в Каминскую, конечно. С ней он расстался в 1894 году, и, кажется, окончательным переломом в их отношениях был момент, когда она заснула, слушая только что написанную «Старуху Изергиль». Правду сказать, понять ее можно.

4

«Старуха» – одно из самых популярных сочинений раннего Горького, но эта слава как раз доказывает, что у массы почти всегда неважный вкус. Композиция как в «Макаре Чудре»: море, у моря сказывается древняя сказка, – здесь, правда, их две плюс биография рассказчицы. Рассказ написан вдохновенно, за одну ночь (по другим признаниям – за сутки), с романтической приподнятостью в нем все обстоит прекрасно, со вкусом несколько хуже. Считается, в общем, что в этом рассказе Горький преодолевает свой ранний байронизм – осуждает гордеца Ларру, зато возвеличивает молодца Данко, отдавшего сердце свое за людей. Между тем ключевая часть рассказа как раз не эта, а исповедь старухи, меж двумя легендами рассказывающей свою жизнь, – и как раз такая композиция изобличает в бывшем столяре, грузчике, красильщике, бродяге, хлебопеке, бурлаке, строителе, стороже, репортере и проч. недюжинную литературную изощренность. Реальность всегда богаче и сложней романтических представлений о ней, и как раз в судьбе старухи замечательно переплелись оба варианта – и самоотверженность в духе Данко, и эгоизм в духе Ларры; в этом и контрапункт, и смысл рассказа – в том, что никакие ожидания не сбываются и рациональные схемы не выстраиваются. Только в сочетании Данко и Ларры – истинная женщина и истинная жизнь; Горький и за собой знал это сочетание, отлично сознавая всю тупиковость альтруизма и неблагодарность человечества. За эту композицию, действительно оригинальную и выверенную, Горький и выделял этот рассказ: *«Должно быть, ничего уже не напишу я так стройно и красиво, как написал „Старуху Изергиль“».*

«Старуху Изергиль» Горький сочинил в Нижнем осенью 1894 года, уже сотрудничая в нижегородском «Волгаре», печатаясь в «Волжском вестнике» и «Самарской газете». Мелочи, которые он печатал в «Волгаре», представлялись ему очень плохой литературой, чистой поденщиной, хотя напечатал он там и первое свое большое произведение – повесть «Горемыка Павел», растянувшуюся аж на 25 номеров. Это бульварная история – смесь романа воспитания с любовной мелодрамой, и хотя есть в ней и горьковская беспощадная память на отвратительное, и горьковское чутье на смешную и уродливую деталь, вещь эта вполне оправдывает авторское пренебрежительное отношение к ней. Между тем его приятель, студент Васильев, уже отвез в Москву – без его ведома – небольшой рассказ «Емельян Пиляй», и он появился в «Русских ведомостях» – издании серьезном.

Короленко все настойчивей уговаривал Горького переезжать в Самару – «Самарская газета» была не чета «Волгарю». Вскоре Горький оставил гражданскую жену и осенью 1895 года перебрался в Самару, где и началась его профессиональная литературная жизнь. Самарский период оказался необычайно плодотворен: почти все рассказы и очерки, составившие его первый двучастный сборник, написаны именно тогда.

5

Почти все ранние сочинения Горького – включая и «Старуху» – построены на нехитром, но действенном приеме: он берет традиционную литературную схему и выворачивает ее наизнанку – либо, в более удачных вещах, одним незначительным «поворотом винта» до неузнаваемости меняет устоявшийся сюжет. Фабульные схемы, отлично известные невзыскательному интеллигентскому и даже пролетарскому вкусу, присутствуют в каждом рассказе первого цикла – и в каждом Горький взрывает их одним неожиданным фабульным ходом: он словно пришел сказать, что вся литература до него врала и только с ним пришла живая жизнь, непредсказуемая, неоднозначная, более мрачная, но и более счастливая, чем любая схема. Разрушение схем, кстати, идет не только по линии наращивания ужасного, но иногда и по линии опровержения этого ужасного, иногда и хеппи-энд из всего этого высовывается, как в замечательной пародии на святочный рассказ «О мальчике и девочке, которые не замерзли». Разрушить штамп – вот какая была у Горького установка; и читатель ее немедленно оценил.

Но истинная слава пришла к нему, конечно, не благодаря беллетристике – хотя и ее он активно размещал в поволжских газетах, потому что рассказы в них печатали охотно, за недостатком собственно газетных жанров. Горького сначала узнали как фельетониста. Впоследствии он скромно писал, что начал «с плохих фельетонов под хорошим псевдонимом Иегудиил Хламида» – псевдоним действительно отличный, так и видишь огромного, язвительного, басовитого семинариста, да и слог этих фельетонов часто стилизован под духовную литературу, велеречивую и архаичную. Чего стоят одни только «Мысли и максимы», которые Хламида публиковал регулярно: «Сколь туго ни застегивай штаны твои, начальство выпорет тебя, если пожелает того!» Или: «Пли! И благо ти будет! Но долговечен ли будеши на земли – кто скажет?» Но, правду сказать, хорош был не только псевдоним: хороши были и фельетоны. Начал Горький с нищенских расценок – две копейки за строчку – и с компиляторской рубрики «Очерки и наброски», где печатались бесподписные обзоры российской провинциальной печати. 24 февраля он приступил к работе, а уже к июлю – когда, собственно, и появился Иегудиил Хламида, – был ведущим сотрудником газеты, грозой самарского купечества и любимцем разночинной интеллигенции.

Самару называли тогда русским Чикаго: город рос как на

дрожжах, в нем было больше ста тысяч населения, вокруг лежали плодороднейшие степи; здесь торговали пшеницей, шкурами, салом, самарская пристань кипела народом, и в центре города воздвигались богатейшие особняки, принадлежащие недавним гуртовщикам и кулакам. Самарское купечество было, как писал Горький, умевший в трех хлестких словах портретировать явление, «благочестивым, сытым и жестоким»; итогом его трехлетних наблюдений над поволжским купеческим бытом стал роман «Фома Гордеев» – первое его крупное произведение, которым автор был доволен. Три самарских года стали для Горького не просто временем первой славы и относительно стабильных литературных заработков, но и временем знакомства с истинными хозяевами России – с купцами, которым, по сути, и принадлежала власть в городе. «Самарская газета», основанная бывшим гусаром Новиковым и перекупленная в девяностые годы молодым купцом Костериным, вела себя полиберальнее, чем даже столичная пресса: в тогдашней России это было явлением частым – в провинции работали те, кого из столиц высылали за вольномыслие. В «Самарской газете» фактическим редактором был Николай Ашешов, друг Короленко, которому как раз и пришлось из Москвы переехать на Волгу. Он был двумя годами старше Горького, сам из крестьян, окончил, однако, юридический факультет МГУ и устроился в «Русскую жизнь», но в девяносто втором отправился в административную высылку, выбрав для нее Самару. Пешкова он выделил сразу. Молодой фельетонист поселился на Москательной (ныне улица Льва Толстого), но жил фактически в редакции, ибо на нем, помимо еженедельного фельетона, были и упомянутые обзоры прессы, и весь художественный отдел, и – по мере необходимости – репортажи в номер. Вскоре он завел квартиру поприличнее – уже не в полуподвале, а в первом этаже, на Вознесенской (ныне Степана Разина), а еще через полгода въехал во вполне приличное жилье на Дворянской. Здание редакции, кстати, цело поныне – это дом с мемориальной доской на нынешней улице Куйбышева, 73 (в прошлом тут располагалась Алексеевская площадь). Здание редакции – двухэтажное, купеческое – ежедневно осаждалось посетителями, просителями и негодующими читателями, желавшими расправы над прессой; Хламиде доставалось чаще других, на него жаловались в столицы, но ущучить не могли. Он печатал опровержения, а потом возвращался к теме – убедительно и доказательно. Самарская цензура хоть и не забывала о своих обязанностях, но была либеральнее московской. Горький позволял себе замечательные вольности, которые, кстати, вполне актуальны и по нынешним временам:

«Мой знакомый пришел ко мне и тотчас же заявил:

– Местная печать не соответствует своему назначению…

В сущности, я прекрасно знаю, что не соответствует, и знаю причины, в силу которых в русской жизни установилось несоответствие печати с ее назначением. Дело, видите ли, в том, что с точки зрения сведущих в жизни людей порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живем ведь мы!»

6

Для тогдашней России яркий, смешной и храбрый фельетон в газете был в новинку. Немудрено, что Хламиду заметили и стали заказывать фельетоны и обзоры – уже не в Самаре, а в Нижнем, а впоследствии и в «Одесском листке», где нужен был свой поволжский корреспондент. Горький никакой работы не боялся – писать ведь, по русскому выражению, не мешки ворочать, а он и мешки когда-то ворочал неутомимо; по подсчетам горьковедов, за два неполных года он написал около 500 полновесных фельетонов и очерков, не считая собственно беллетристики, принесшей ему два года спустя настоящее писательское имя. Производительность фантастическая, для тогдашней России непредставимая. Сам он при встрече с Леонидом Леоновым в Сорренто, в 1927 году, грустно признался: «В сущности, я всего лишь публицист». Леонов, по собственным воспоминаниям, тогда не возразил, а надо бы – возможно, будущее охлаждение между ними имело своим истоком именно этот диалог. Конечно, «всего лишь публицистом» Горький не был – но газетную работу, безусловно, делал на высочайшем уровне. В России человеку всегда приходится оправдываться за то, что он умеет чуть больше. Горький был первым русским писателем, чей журналистский талант не уступал литературному – вспоминается, пожалуй, еще Некрасов, но Некрасов газетчиком не был и не представлял, что такое пятьсот строк в номер ежедневного издания. Звездным часом Горького-газетчика стала Первая всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года: его репортажи оттуда – в самом деле шедевры. Во-первых, все видно: живо, пластично, коротко. Во-вторых, Горький точно выразил настроение большинства посетителей выставки, ставшей в самом деле важной вехой русского самосознания; не зря Шагинян в своей тетралогии о Ленине посвятила «Первой всероссийской» отдельный том.

С одной стороны, выставка продемонстрировала колоссальную мощь отечественной промышленности и науки, фантастическое русское богатство; с другой – обнаружила полное непонимание, что с этим богатством делать. Горький много писал о недоумении и неодобрении купцов, увидевших типографскую машину и воздушный шар; о патологически низкой культуре большинства посетителей; о рабской и необоснованно жестокой эксплуатации людей, от которых в конечном итоге и зависело все это процветание. У нас в девяностые годы прошлого века неожиданно всплыл миф о сказочном богатстве, роскоши,

сытости царской России, о миллионах пудов зерна, тоннах икры, стремительном промышленном росте и прочих прелестях российского капитализма. Все это было, но был и совершенно не соответствующий этим темпам государственный механизм, и темнота, и социальное расслоение много хлеще нынешнего. Главный тон горьковских корреспонденций – именно смесь досады и гордости, нормальное состояние тогдашнего русского интеллигента: столько всего у нас есть – и так мы не умеем всем этим распорядиться! Интересен тут и еще один аспект: на выставке была представлена не только промышленность, но и культура. Была тут большая экспозиция новой живописи, в том числе Врубеля. Горький оказался с молодости упрямым врагом всяческого модернизма: расписанный Врубелем занавес с призрачными женскими фигурами он назвал «Провал сквозь землю престарелых дев», а о прочей модернистской живописи отозвался еще резче, чем в годы соцреализма ругал Андрея Белого. При всей его любви к свободе и нелюбви к цензуре – в искусстве он оказался строжайшим консерватором и традиционалистом, поборником внятности. Эту неприязнь к модернизму – в стихах, в прозе ли, в живописи – пронес он через всю жизнь; странно, что модернисты отнюдь не платили ему взаимностью и признавали горьковский талант, сожалея лишь о невоспитанности вкуса.

7

Корректором «Самарской газеты» служила Екатерина Волжина. Она была дочерью разорившегося помещика, пошедшего теперь в управляющие. Сразу после гимназии она устроилась в газету, потому что семья нуждалась в деньгах. Сам Горький описывал ее в письмах иронически – *«рот и нос некрасивы», «не знает, чего хочет»,* – но ирония это была незлая, отеческая, что ли: он был старше ее на восемь лет, знал и видел столько, что казался ей полубогом, относился к ней снисходительно, ухаживал недолго. Они обвенчались 30 августа в самарском Вознесенском соборе. Катина семья была против, но она никого не слушала. Правду сказать, Горький самарского периода – при всей своей славе фельетониста – казался обывателям чуть ли не безумцем. Во-первых, он ненавидел тошнотворную серьезность провинциального общения и вечно выдумывал какой-нибудь бред – вроде того, что на Кавказе есть вино, от которого зеленеют уши; обыватели охотно верили. Во-вторых, он одевался примерно так же, как и во время своих странствий: мягкие кавказские сапоги, широкие синие хохлацкие штаны, знаменитая впоследствии разлетайка вроде пончо, под ней черная тужурка, туго подпоясанная; на голове широкополая шляпа – такие почему-то называли греческими, в руке крепкая палка. Это потом тысячи поклонников и коллег стали одеваться «под Горького»; тогда это был еще не стиль, а чудачество, вызов, и общее недоверие, сопровождаемое насмешками, было для Горького еще одним поводом возненавидеть самарского обывателя. Когда Ашешов переехал в Нижний редактировать тамошний «Листок», он позвал с собой любимого автора, и Горький охотно за ним последовал. Такова была его судьба – возвращаться в Нижний после двухлетних отлучек, каждый раз на новый этаж социальной лестницы. На этот раз он прибыл в город всероссийски знаменитым журналистом и начинающим писателем: в «Русском богатстве» был напечатан «Челкаш» – история о босяке, который добрее, храбрее и великодушнее подлого и жадного хозяйчика, крестьянина Гаврилы. «Челкаш» снискал Горькому первых недоброжелателей, увидевших в рассказе клевету на милый их сердцу народ и неоправданную лесть люмпену. Михайловский – народник, главный редактор «Русского богатства» – справедливо замечал, что о горьковских босяках не скажешь, отвергнутые они или отвергнувшие; этого-то и не прощали, особенно те, кому казалось, что для нравственности необходимы корни, прочное положение,

оседлость и регулярный труд.

В октябре 1896 года Горький на месяц слег сначала с бронхитом, потом с воспалением легких, температура не спадала; в январе следующего года у него диагностировали туберкулезный процесс. Пришлось ехать на лечение в Крым, да потом еще долечиваться поблизости, на Украине, под Полтавой, в деревне Мануйловке. Здесь он изучал украинский и играл с местными ребятами в городки, здесь же 27 июля родился его сын, которому он, естественно, дал любимое имя своего отца и своей литературной маски. Максим Пешков прожил странную жизнь – всегда в тени знаменитого отца, всегда при нем, при его друзьях, и кажется, ему так и не случилось повзрослеть. Все, кто его знал и оставил мемуары, упоминают о его фантастическом инфантилизме: больше всего на свете он любил скорость, автомобили, гонки, немало пил, был женат на красавице (к которой и отец его был неравнодушен – хотя версия о его снохачестве ни на чем не основана и восходит, кажется, к горьковскому рассказу «На плотах»). Горький обожал сына, но, как и первой жене, уделял ему очень мало внимания: он, признаться, был не слишком хорошим семьянином и вообще не мог систематически опекать ближних, поскольку слишком много заботился о дальних (не забывая, впрочем, и себя). Это было какой-то изнанкой, отражением его восторженной любви к человечеству в целом и отвращения к большинству его частных представителей. Екатерина же Пешкова, оставшись на всю жизнь его другом и помощником, никогда не была объектом по-настоящему страстной любви: он всегда воспринимал ее скорей как друга.

Осенью 1897 года Горький пытался устроить в Мануйловке мужицкий театр – и сам дивился, с каким энтузиазмом мужики взялись репетировать пьесу Карпенко-Карого «Мартын Боруля». На спектакль сошлись из окрестных деревень, сам Карпенко-Карый приезжал его посмотреть, особенно восхищаясь талантом исполнителя главной роли, крестьянина Якова Бородина. Провожать Горького из Мануйловки собралась почти вся деревня, устроили ему в сельской чайной торжественный обед.

В декабре он вернулся в Нижний, а в январе получил одно из тех предложений, о которых и самый прославленный писатель с удовольствием вспоминает всю оставшуюся жизнь: два начинающих издателя – Дороватовский и Чарушников – предложили ему собрать свои рассказы и очерки в небольшой томик и издать в Москве. Они верно почувствовали конъюнктуру – ни на что не похожая проза Горького идеально соответствовала запросам нового читателя; но ни одно из уже существующих

издательств не бралось публиковать книгу, написанную столь резким языком и на столь грубом материале. Горький по меркам конца позапрошлого века был действительно горек, и Дороватскому с Чарушниковым пришлось основать собственное издательство – они так и назвали его, своими фамилиями, и выпустили больше ста книг для массового читателя; у Горького набралось очерков не на один, а на два тома, и эта-то книга весной 1898 года вышла в Москве, но сама по себе она, конечно, такой славы Горькому не сделала бы. Пусть читателей становится все больше, пусть грамотных прибавляется, пусть даже в России возник «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» и начал вовсю перепечатывать в виде листовок давнее, совершенно невинное горьковское сочинение «В Черноморье», которое 5 марта 1895 года вышло в «Самарской газете» и никем не было толком замечено (миллионы выучили его наизусть под названием «Песня о соколе»), – настоящую рекламу писателю делает в России только правительство.

И в 1898 году, непосредственно после выхода московского двухтомника, оно таки занялось Горьким вплотную.

8

Когда сегодня разбираешь эту историю ретроспективно, с точки зрения будущей горьковской славы и практически необъятного влияния, не устаешь подозревать во всем этом трагифарсе целенаправленную волю: не могла такая глупость случиться сама собой, это нашему рыжему опять делали биографию! Больше того: как только вышли горьковские «Очерки и рассказы», русская критика на них, понятное дело, обрушилась отнюдь не только с похвалами: так не бывает, чтобы значительное явление вызвало сплошной восторг. Но после того как Горький впервые в жизни отправился по этапу, даже самым яростным его противникам стало неприлично выискивать в его текстах мировоззренческие и стилистические огрехи; он был канонизирован с самого начала своей литературной деятельности. Вышло так, что в Тифлисе был арестован горьковский сосед по съемной квартире, Федор Афанасьев, занимавшийся весьма умеренной марксистской агитацией среди железнодорожных рабочих; ну, а дальше честолюбивой тифлисской полиции захотелось выслужиться, и из обнаруженной у Афанасьева фотокарточки, на которой был изображен мужчина в русском костюме, а на обороте была надпись «Дорогому Феде Афанасьеву на память о Максимыче», начал лепиться всероссийский заговор. Горького уже знали по фотографиям. Понятно, какой такой Максимыч; он еще в Тифлисе привлекал внимание – независимостью и странным костюмом. Горький, как мы знаем, периодически попадал под надзор полиции (скажем, после ареста Федосеева и Сомова и разгрома тимофеевской типографии); досье на него было, и в досье этом говорилось, что он человек начитанный, хорошо владеющий пером, часто бродяжил без определенных занятий и вообще в высшей степени подозрителен. Российская полиция в этих случаях во все времена работает одинаково: не работает? – подозрителен. Начитан? – вдвойне подозрителен. Владеет пером? – готов заговорщик. Реакция настолько несопоставима с поводом, что рациональных объяснений не подберешь: в Тифлисе потянули к допросу Калюжного, который Горького первым напечатал, а в Нижний полетело предписание арестовать и доставить Горького в Тифлис для дознания. И Горького арестовывают в Нижнем, и 11 мая 1898 года он прибывает в Тифлис с полным запечатанным тюком, в котором находился весь его архив: письма, заметки, рукописи. В Тифлисе, где он не был шесть лет, его помещают в Метехский замок, в одиночную камеру, и начинают допрашивать, а

общественности между тем становится известно и о безумном этом аресте, и о еще более безумном этапе, который полицейское начальство мотивирует в специальном объяснении «удобством». Им, стало быть, удобнее оказалось допросить его в Тифлисе. И всероссийски известного писателя повезли за полторы тысячи верст – каково! Интеллигенция безумствует, в защиту Горького подписываются протесты, из Метехского замка его выпускают 29 мая, хоть и под «особый надзор», но без последствий. Правда, теперь при переездах с места на место он обязан был извещать жандармское управление и предупреждать о маршрутах. В июне он отправился в Самару на кумыс, а в августе вернулся в Нижний с намерением написать первый роман. В письме к С.П. Дороватовскому он пишет:

> *«Отношение публики к моим писаниям укрепляет во мне уверенность в том, что я, пожалуй, и в самом деле сумею написать порядочную вещь… Вещь эта, на которую я возлагаю большие надежды, мною уже начата».*

Что касается читательских ожиданий, здесь он не преувеличивает. Мало книг в истории русской литературы, которые вызвали бы при своем появлении столь оживленную полемику: как только Горький оказался выпущен из Тифлиса, на него обрушился не только шквал похвал, но и ураган ругани. Ругань эта была, впрочем, политкорректна – по-нынешнему говоря: мало кто осмеливался прямо нападать на новую надежду русской литературы, вдобавок сделавшую себе имя на портретировании социальных низов. Тем ехиднее были эти скрытые нападки – особенно ядовитые в статье Михаила Меньшикова «Красивый цинизм». Статья девятисотого года до некоторой степени итожит все, что понаписали о Горьком в девяносто восьмом и позже; при всей своей субъективности (тщательно замаскированной, что Меньшиков отлично умел) автор точно объясняет механизм горькомании. Впрочем, это объяснение годится для любого писателя из народа – у нас традиционно ловят каждое слово свидетеля, пришедшего оттуда.

«Для всех лагерей как правдивый художник господин Горький служит иллюстратором их теорий; он всем нужен, все зовут его в свидетели как человека, видевшего предмет спора – народ – и все ступени его упадка. Народники, которые, кажется, первые открыли в Нижнем этого писателя-босяка, говорят: „Поглядите, как капиталистический режим уродует жизнь народную!“ Но не успели они оглянуться, как нашим автором завладела другая партия – марксисты. Они закричали о нем на весь свет, с трубами и литаврами провозгласили его гением, первым писателем

современности… Был момент, когда от Горького не было проходу, и от излишнего усердия друзей он угрожал даже прогоркнуть для публики… Этот писатель вывел на сцену тот самый общественный класс, который должен в конце концов осуществить мечты марксизма. Правда, герои Горького не дисциплинированные рабочие фабрик, но все же это рабочие. Горький впервые показал огромное и темное сословие людей, хотя и пьяных и истеричных, но страшно озлобленных своею долей, готовых на вечную борьбу с буржуазным обществом и уже ведущих эту борьбу. Горький является для марксистов как бы Гомером будущего. Так называемые реакционеры, романтики крепостного строя, в свою очередь, осчастливлены появлением Горького. Поглядите, могут сказать они, вот к чему ведет ваш хваленый прогресс! Спасибо Горькому, наконец-то он изобразил пролетария без либеральных прикрас, во всем цинизме этого типа!»

Несмотря на все скрытое – а пожалуй, что и явное – недоброжелательство к Горькому, консервативный публицист Меньшиков вполне ясно обрисовал причины универсальности его славы. Каждый видит в нем подтверждение собственных теорий. Осталось понять, каковы были на этот счет теории горьковские – то есть в какой степени сам он разделял взгляды тех или иных интерпретаторов. Меньшиков, как мы понимаем, ополчился на него за то, что как раз его-то, меньшиковские, взгляды он никак не подтверждает: не верит он в идеальный народ, верный корням и традиции. Потому и попадает у Меньшикова в разряд циников, отрицающих полезность труда и оскудение веры. Но что же сам-то автор?

А сам автор как раз на перепутье, о чем и свидетельствовали два тома «Очерков и рассказов». Он и сам не видит силы, которая бы спасла ситуацию, и более того – не находит учения, адепты которого могли бы распространить его на Руси ради спасения страны. Герой борющийся у Горького есть, но это всегда одиночка; героя побеждающего – нет, героем теоретизирующим и отвечающим на вопросы даже не пахнет. И именно этим он оказался неблизок русской традиции: до чеховской бесстрастности ему далеко, но по части выводов и теорий он отделывается крайне общей констатацией, что жизнь устроена неправильно. Эва! – и без него догадывались…

При этом одного качества у Горького не отнять – он поразительно чувствует силу, ибо сам силен, и только на сильного врага безошибочно обрушивается. Главный российский класс, авангард, основа процветания страны в девяностые годы – купечество; собственно, уже в семидесятые и восьмидесятые оно под пером Островского, Мельникова-Печерского, Лескова, Мамина-Сибиряка начало превращаться в силу чуть ли не былинную. Русское купечество – явление глубоко национальное, любезное, кстати, и народникам, поскольку большинство купцов – выходцы из самого что ни на есть народа, многие поднялись из нищеты; вдобавок уже вторые поколения купеческих семей – европейцы, образованный, утонченный класс, сохраняющий, однако, родительскую прижимистость и сметку. В силу проклятого и благословенного своего характера – в силу все той же страсти «не соглашаться», – Горький набрасывается именно на купечество, к тому времени действительно изрядно мифологизированное и опошленное живописателями купецкого быта. Кому не знакомы гастрономические, слюноточивые описания купеческих оргий, кутежей, волжской шири (причем этой речной шири соответствует и ширь нрава, с упоением описываемая бесчисленными мифотворцами)! Тут вам и миллионные сделки (всегда на благо Отечества), и надсадная, громко-публичная любовь к Отечеству, и манера широко креститься и биться лбом в пол при всяком удобном случае, и железное купецкое слово, и опять-таки железная домашняя дисциплина, почти по домострою… Этот миф о национальной опоре, о всероссийском благодетеле, который и о народе не забывает, и Бога помнит, и миллионами ворочает, настолько дурновкусен, что только самодурствующему купцу и мог понравиться; но находились – и до сих пор в изобилии находятся – люди, которым все это очень по душе. Купец становится главным героем новой литературы, об руку с ним идет Русский Промышленник – персонаж столь же широкого нрава, – и все эти лубки широко распространяются по газетной, журнальной, книжной русской словесности. Самодовольство купеческого сословия растет с каждым днем. И Горький бьет именно в эту мишень – потому что мало кто вызывал у него такую антипатию, как этот новонародившийся тип, глубоко фальшивый в каждом слове. В крайне пристрастных воспоминаниях о Горьком Бунин откровенно клевещет на него, рассказывая, с каким упоением Горький в Ялте расписывал Чехову волжских купцов, которые все

у него выходили какими-то сказочными богатырями. Достаточно прочесть «Фому Гордеева» или воспоминания о нижегородском миллионере Бугрове, чтобы представить себе истинное отношение Горького к этим богатырям (тем глупее было бы нахваливать их в присутствии Чехова, который сусальной удали терпеть не мог). Правда, в «Гордееве» есть один персонаж, в чьем ничтожестве есть повод усомниться: Яков Маякин, при всей своей юркой тщедушности, действительно в некотором смысле богатырь, и авторская ненависть к нему уж так сильна, что переходит местами в любование. Не зря купец-миллионщик Бугров, желая познакомиться с Горьким, пригласил его к себе, выставил, естественно, миску черной икры – и задал с порога вопрос: «Как думаете, есть такие, как ваш Маякин?» Горький задумался и ответил: «Да, есть». Бугрова это чрезвычайно утешило.

Апофеозом купеческого самоупоения становится финальная речь Маякина – так говорит подлинный хозяин страны, ведущий класс, опорный столп и как там еще любило называть себя купечество, одинаково снисходительно отзывавшееся об интеллигенции, дворянстве и разночинстве.

> *«– Все эти огромные пароходищи, баржи – чьи они? Наши! Кем удуманы? Нами! Тут все – наше, тут все – плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбои на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали – вывели разбои и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше… Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит – тот говорит… – он смачно выговорил похабное слово, – и больше ничего! Пускай! Дует ветер – шумит ветла, перестал – молчит ветла… И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы – бесполезное дерево! От бесполезности и шум… Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно… А наше дело налицо! Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые все*

сделали и все могут сделать, – вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал – за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество… Многая вам лета! Здравствуйте во славу матери России! Ура-а!»

Что говорить, тут все правда. И все самодовольные сословия и кланы – казачество, партийное ли начальство, да мало ли, – говорят о себе в России примерно одними словами, с одной и той же визгливо-торжественной интонацией. И немудрено, что купечество, увидев в Маякине своего идеолога, в «Фоме Гордееве» обнаружило не обличение, а серьезный комплимент. Ведь Фома Гордеев, бросивший в лицо купцам: «Лишь бесконечным терпением народным живы вы!» – попадает в итоге в сумасшедший дом, да куда бы еще и попасть ему? Не в марксистскую же партию вступать!

«Фома Гордеев» был опубликован в журнале легальных марксистов «Жизнь», куда вскоре Горький был приглашен в качестве сотрудника. В отдельном издании Горький посвятил роман Чехову, принимавшему в нем живейшее участие с 1898 года. Отношение Чехова к Горькому – тема отдельная и сложная. Они познакомились в Крыму, во второй горьковский приезд туда – Чехов с 1898 года проводил большую часть года в Ялте, скучая по подмосковному Мелихову, которое пришлось продать, и тоскуя от разрыва с надоедливой, а все-таки родной московской средой. Грех сказать, но как раз чеховские отзывы о Горьком заставляют предполагать в Антоне Павловиче если не лицемерие, то по крайней мере избыточную сдержанность: самому Горькому он пишет множество комплиментов, восхищаясь универсальностью его способностей, смелостью, широтой натуры, – прочим же своим корреспондентам не рекомендует читать его, отзывается скептически, сердится на горьковскую неразборчивость в стилистических средствах…

При всем при том он горячо поддерживал горьковские драматургические опыты, называл некоторые ранние рассказы «тузовыми вещами», хлопотал перед редакторами – когда Горький еще нуждался в протекциях – и, главное, возлагал на Горького серьезные надежды: ему казалось, что этот человек рожден все-таки сказать важное слово и вытащить русскую жизнь из многолетнего тупика. Видимо, тут был сложный комплекс мотивов, о которых мы мало знаем из-за чеховской скрытности: говорить о зависти к ранней и лавинной горьковской славе в его случае смешно, но некоторую преувеличенность этой славы – особенно на фоне своей, поздней и не столь громкой, – он

ощущал явно. Раздражала его, вероятно, и горьковская манера себя вести – которую и Бунин, и Зайцев, и Чуковский неоднократно описывали как экзальтированную и фальшивую.

Горькому не просто было найти верный тон с коллегами-литераторами – хотя бы потому, что большую часть жизни ему приходилось искать верный тон с коллегами-чернорабочими или спутниками-босяками; что уж говорить о таком собеседнике, как Чехов, перед которым Горький давно преклонялся! Чехов вел себя столь сдержанно, что догадаться о его истинных чувствах было нелегко – Горького это стесняло, и он зачастую не знал, о чем с ним говорить. При этом он не мог не видеть, как коробит Чехова многое в нем – резкость красок, некоторая ходульность фабул, страсть к беллетристическим эффектам… С Толстым, как ни странно, ему было гораздо проще – как и с экспансивным Репиным, с которым он познакомился в 1899 году; Репин немедленно написал его прославленный портрет, разошедшийся по России на тысячах открыток. Все время сеансов он говорил, не закрывая рта, и Горькому не пришлось мучительно подыскивать слова – только кивать да слушать.

10

Личное его знакомство с Толстым состоялось наконец через 11 лет после неудачной яснополянской попытки – 13 января 1900 года, в Хамовниках. Они сразу после визита обменялись письмами – Толстой прямо написал Горькому, что полюбил его, да и в дневнике сделал запись: «Настоящий человек из народа». То ли Горький в этот раз удачнее разыгрывал роль человека из народа, то ли его представления о народе совпадали с толстовскими и не совпадали с чеховскими, – однако Толстой почему-то признал за ним настоящее народное происхождение, в котором Горькому так часто отказывали народники вроде Михайловского и консерваторы вроде Меньшикова. Это не помешало Толстому неоднократно говорить новому знакомому, что мужики у него разговаривают чересчур умно, не так, как в жизни; что народа Горький не знает (с добавлением «А я знаю!»), что Горький – злой (это он часто повторял и ему, и другим, и дал уже цитировавшуюся нами точную формулу: что Горький ходит, смотрит и обо всем докладывает своему собственному Богу, а Бог у него урод).

Они часто встречались потом в Крыму – Толстой полгода жил в Гаспре, Горький в Олеизе, под Ялтой. Встречи были отнюдь не столь благостные, как первая, – Чехов подметил (и сообщил это наблюдение Горькому), что старик его «ревнует». И добавил: «Какой удивительный!» Тут уж точно никакой ревности к чужой славе быть не могло – Толстого в России и мире знали больше, читали вдумчивей, последователей у него были толпы, и последователей серьезных, изменивших свою жизнь в угоду учению, а не только начавших носить разлетайку, как многочисленные «подмаксимки». Думается, недоверие Толстого к Горькому было иной природы – он видел, что Горький ищет нового человека, напрочь отрицая прежнего, не только в социальном, но и в антропологическом смысле. Ему хочется другого брака, другого труда, другого творчества, более активно вторгающегося в мир, – смерти же вовсе не хочется, он верит в изгнание ее из мира, тогда как зрелый Толстой именно на примирение с ней тратит столько сил. Толстой – может быть, последний защитник прежнего человека; он не верит ни в какие антропологические перевороты, идея же сверхчеловечности изначально враждебна ему. Он даже Христа предпочитает видеть человеком, отрицая его божественность, изгоняя из Евангелий чудо: он чувствует, чем кончается попытка перерасти человеческие рамки, знает это, может быть, по себе. Именно

отсюда его морализм, неустанная проповедь традиционных ценностей и форм, насмешки над Ницше и декадентами, надежда на душевное здоровье – все то, что при всем разрушительном и бунтарском потенциале его прозы и публицистики делало его чрезвычайно, до ригоризма, консервативным в нравственных и политических вопросах. Он осуждает насильственное переустройство мира, семьи и даже собственной личности (почему большинство толстовцев и были чужды ему, и он откровенно издевался над ними). Он так и хотел навсегда остаться в круге традиции – а когда вынужденно покинул его, уйдя из дома, то немедленно умер. В этом было страшное предзнаменование будущей русской судьбы – ибо уйти из мира человеческих представлений и традиционных ценностей можно только в смерть, в катастрофу; но тогда сам факт толстовского ухода действовал на людей сильней, чем его сразу же последовавшая гибель. И Горький продолжал спорить с ним – ухода же его не понял вовсе: он увидел в этом жесте отчаяния и отрицания «упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в „Житие иже во святых отца нашего блаженного болярина Льва“. Хотя вот уж ничего подобного в толстовском бегстве не было – это именно было бегство от жития иже во святых.

Но был у них и главный пункт расхождения – горьковская рано определившаяся любовь к деятельной и творческой Европе, ненависть к пассивной и цикличной Азии, к азиатскому принципу недеяния. Как ни странно, этот бунтарь – особенно в девятисотые годы, когда мировоззрение его наконец определилось, – очень любил государство и злился на толстовскую антигосударственную проповедь, на его, как тогда писали, анархизм. И то сказать: такое мировоззрение, по Горькому, предопределено «пытками истории нашей». А если б не пытки, так и государство необходимо, ибо без него какая же организация жизни, какое же творчество и рост? Вот русский парадокс: революционер Горький защищает государственные институты от помещика Толстого! Но и это можно понять: Толстой не нуждался во внешних скрепах, он сам был человеком традиции и отлично знал, что можно, что нельзя. Государство ему в этом только мешало. А Горький – человек ниоткуда, ни в одном классе не ужившийся, – слишком ясно сознавал свои бездны и бездны того народа, среди которого жил. Отсюда его фанатичная вера в некие великие, ограничивающие силы: государство, культуру, даже и Бога, если этот Бог будет не церковным, а новым, рукотворным, результатом коллективного творчества, общественного договора, если угодно… Тут и корень всех их различий: Толстой неустанно

доискивается правды – Горький ее ненавидит, отрицает, хочет создать заново. Толстой бьется над тем, чтобы максимально точно изобразить реальность, – Горький устал от нее, видеть ее больше не может и мечтает только о том, чтобы заменить ее другой, рукотворной. Эта рукотворность, затейливость вымысла и промысла необычайно прельщала его в искусстве – не зря он так любил китайские вазы, затейливые украшения, витые безделушки, все, чего Толстой не признавал, хваля искусство только за душеполезность и изобразительную мощь. В этом и роковое противоречие их биографий: Толстой всю жизнь прожил оседло, мечтал уйти, а уйдя – тут же умер. Горький всю жизнь странствовал, а осев – тут же впадал в тоску, ни на одном месте не выдерживая дольше года кряду.

11

Начиная с 1900 года тридцатидвухлетний Горький – уже русский классик. Так мало кому в нашей литературе везло. Писать очерки и рассказы ему становится скучно, и он решительно обращается к драме – она кажется ему, во-первых, более свободным и ярким родом искусства, а во-вторых – более мощным способом влияния на массы. Он уже исходит и из этого соображения – какое искусство сильней воздействует и активнее побуждает к борьбе? Из соглядатая жизни Горький превратился в преобразователя – собственно, переход от прозы к драме иллюстрирует это ярче всего.

Первая его пьеса – трагикомедия «Мещане» – была разрешена к постановке только Художественному театру; Горький познакомился с МХТ через Чехова, и это знакомство надолго определило его судьбу. Дозволены были всего четыре абонементных спектакля, и это еще одна иллюстрация к тому, как Горькому делают биографию: в пьесе «Мещане» нет решительно никакого криминала. Это самое автобиографическое из горьковских сочинений для театра: глава семьи – старшина малярного цеха по имени Василий, только не Каширин, а Бессеменов; жена его – Акулина, добрая, но забитая; дети отчаялись выбраться из-под отцовской воли, хотя и выросли умными, а сын Бессеменова Петр вдобавок ненавидит общество, не хочет никаких гражданских обязанностей и презирает любые формы заботы о ближнем. Есть у Бессеменова и воспитанник Нил, машинист, который оглашает главную мудрость пьесы.

> *«Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту канитель. И скоро – оттолкну решительно, навсегда… Переведусь в монтеры, в депо… надоело мне ездить по ночам с товарными поездами! Еще если б с пассажирскими! С курьерским, например, – фьить! Режь воздух! Мчись на всех парах! А тут – ползешь с кочегаром… скука! Я люблю быть на людях… Я жить люблю, люблю шум, работу, веселых, простых людей! А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и по неизвестной причине стонете да жалуетесь… на кого, почему, для чего? Непонятно. Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется… А ты сделай усилие – перевернись! Философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я ведь умником себя не*

считаю… Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, потому, что очень уж вы любите на все и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет… И некому, и… не стоит…

Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь – я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая… Бить по ней молотом – наслаждение! Она плюет в тебя шипящими, огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая… И вот ты сильными ударами сплеча делаешь из нее все, что тебе нужно…»

Ничего революционного Нил тут не сообщает, и понять, почему этот монолог встречался неизменными овациями, можно лишь с учетом всеобщего уныния и омерзения к себе, овладевшего русским обществом на рубеже веков. Хватит ныть, хватит жаловаться – пора переменить жизнь! Пришел Горький, привел простого, сильного, веселого человека – ура Горькому! И поди разберись, что этот веселый Нил на самом деле – самодовольный эгоист, не умеющий никого пожалеть, в чем справедливо упрекает его Татьяна: новый человек выше жалости! Ему женщина жалуется на тоску и бессмысленность жизни, по сути, в любви ему признается – а он ей рассказывает, как любит ковать! И таких диалогов в «Мещанах» множество: сколь ни отвратительна мещанская жизнь, ни груб ее уклад – а ведь и за Бессеменовым есть своя правда, и жалко ему смотреть на дело рук своих, для которого не находится наследника! Но зритель 1901 года не желал жалеть Бессеменова. Он узнавал себя в цинике Петре и завидовал Нилу, любителю ковать. Пьеса шла с аншлагами и сопровождалась демонстрациями, Горького вызывали на сцену по многу раз, да что там – его вызывали даже во время чеховских пьес, на которых он присутствовал как зритель! Он выходил, грозно выговаривал залу за то, что срывают представление и оскорбляют чужую пьесу, – но волна его славы нарастала, и самое обидное – он сам не всегда понимал, что же сказать и сделать в ответ на эти избыточные ожидания. Каждый в самом деле вычитывал в его пьесах и рассказах то, что хотел прочитать, и соответствовать этим взаимоисключающим представлениям становилось все трудней.

Еще трудней жилось ему в Нижнем, где он существовал уже фактически под гласным полицейским надзором. Чего опять-таки не отнять у Горького, так это исключительной жажды

деятельности – и полной неспособности наслаждаться комфортом в одиночку. Казалось бы, всю жизнь прожил в нищете и неутомимом труде – вот пришли издания, переиздания, деньги, в одной Германии десяток издательств конкурирует за право публикации его двухтомника, можно наслаждаться. Ничего подобного – он тратит почти все гонорары на устройство елок для нищих детей Нижнего, на покупку мимеографа для рабочих Сормова (на нем размножали воззвания и листовки), на партийную прессу – в частности, на только что созданную «Искру»… Журналом легальных марксистов «Жизнь», где появляется вся его новая проза, он уже по сути руководит… В марте 1901 года Горький вновь оказывается в центре общественного внимания. В декабре девятисотого года 183 студента за участие в демонстрации были исключены из Киевского университета и отданы в солдаты, и Горький пишет Брюсову:

> *«Настроение у меня, как у злого пса, избитого, посаженного на цепь… Отдавать студентов в солдаты – мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов».*

4 марта 1901 года перед Казанским собором прошла огромная студенческая демонстрация – ее разогнали жандармы, и Горький написал о ней подробную прокламацию, названную «Опровержение правительственного сообщения». Он был там, у Казанского, и все видел. Вскоре после этого, 17 апреля, он был в очередной раз арестован, в тюрьме у него обострился туберкулез, и под давлением общественности он вновь был выпущен – тем более что ничего на него и не было. Об его освобождении просил сам Толстой, и в результате уже 17 мая Горький был на свободе. 26 мая родилась его дочь Екатерина. В майском номере «Жизни» появился отрывок из горьковского рассказа «Весенние мелодии» – и тут опять не знаешь, ужасаться или умиляться неразумию русской цензуры: рассказ в целом она запретила, сочтя его (и справедливо) откликом на студенческие волнения, а разрешила из него одну «Песню о буревестнике». Все-таки стихи, никаких прямых политических намеков… Меру более самоубийственную трудно было придумать: «Песня о буревестнике» сделалась манифестом первой русской революции.

12

Не знаю, имеет ли смысл напоминать читателю это сочинение, давно разошедшееся на цитаты. Но перечитать его имеет смысл уже хотя бы потому, что стихи-то, в общем, хорошие: белые, в отличие от рифмованных, Горькому удавались. Здесь он писал с натуры – как-никак часто бывал у моря, видел шторм, – и если оставить в стороне революционный пафос, то сама пластическая картина моря перед бурей удалась ему чрезвычайно. Главное тут – верно найденный ритм, четырехстопный хорей, идеально выражающий страшное напряжение в воздухе, предгрозовое, жадное ожидание. Хороша и цветовая гамма «Песни» – черная, белая, синяя. *«Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит».* Как хотите, а это здорово, это динамично, это отлично запоминается – и во всем этом какая-то свежесть, радость, никакого отношения не имеющая к русской революционной ситуации. Хватит бояться! Хватит ждать катастрофы – пусть она уже разразится! И не так все страшно, как кажется: *«В гневе грома – чуткий демон – он давно усталость слышит».* В контексте «Весенних мелодий», остроумных, как всякая горьковская сатира, «Песня», конечно, звучала сильней – там изображены птицы-доносчики, птицы-обыватели и птицы-мечтатели, грезящие о ко-ко-конституции; на их фоне Буревестник еще ярче, и ясно, по крайней мере, к чему ведет автор. Он призывает ни на что не надеяться и ничего не бояться. Но и в таком изрезанном виде «Весенние мелодии» свое дело сделали. Несмотря на избыточную, картинную образность, на всякого глупого пингвина и вещих гагар, которым недоступно наслажденье битвой жизни, «Буревестник» самим своим ритмическим решением и цветовым рисунком внушает читателю некий грозный восторг. И это серьезная заслуга Горького, не говоря уж о том, что сама позиция – не надеяться ни на какие легальные способы борьбы – в России тоже актуальна: пингвинам и гагарам тут действительно ничего не светит. Да, прямота басенного хода, да, примитив – но энергия искупает все.

Вскоре власти не нашли ничего умней как выслать Горького с семьей из Нижнего в Крым; на всем пути следования его поезда были организованы студенческие демонстрации и восторженные митинги, в Харькове чуть вокзал не разнесли. Горький увидел в этом, разумеется, не только и не столько взлет личной славы – он впервые понял, насколько серьезна общественная ситуация в стране, где высылка одного, пусть знаменитого, писателя с

расплывчатыми революционными идеями способна возбудить такую реакцию интеллигенции. В Крыму он и лечился близ Ялты (без права проживания в ней), много общаясь с Толстым и обдумывая следующую драму. Этой драме суждено было остаться самым популярным его произведением – популярным без всякого искусственного насаждения и принудительного изучения. Эволюция ее замысла весьма характерна: пьесы Горького ведь в большинстве своем бессюжетны, это именно «картины», как он их чаще всего называл. Исключение составляют его немногие чисто драматургические, фабульные удачи – вроде «Фальшивой монеты» или «Старика»; но это вещи поздние, далеко не имевшие того успеха, и даже в замечательно напряженном «Старике» проблемы с развязкой. Новая пьеса имела поначалу сюжет столь простенький, что автор сам от него быстро отказался: Горького занимал ночлежный быт, интересовали типы дна, он захотел написать очередное свидетельство об ужасе этой подпольной жизни, в которой все друг друга ненавидят, – но тут приходит весна, ночлежники выползают на солнышко, начинают благоустраивать свой грязный двор… и на этом как-то примиряются, улыбаются друг другу, жизнь, короче, налаживается, как в современном анекдоте про бомжа. Не под влиянием ли бесед с Толстым сформировался такой вполне толстовский замысел? По ходу работы над пьесой, однако, он приобрел совершенно новые черты – в пьесе возник Лука, без преувеличения самый обаятельный герой горьковской драматургии. Этот старичок-странник – явно с криминальным прошлым, беспашпортный, то ли беглый каторжник, то ли бродяга с каторжным опытом, – вносит в жизнь ночлежки бесспорную новизну: у него нет ничего общего с кротким странничком из русской сусальной литературы. Этот старец остер на язык – чего стоит знаменитая реплика в ответ на слова полицейского Медведева: я, мол, не видел тебя в моем участке. *«Это оттого, дядя, – отвечает Лука, – что земля-то не вся в твоем участке поместилась… осталось маленько и опричь его…»* В суматохе, в которой убит хозяин ночлежки Костылев, Лука умудряется исчезнуть первым, что дает некоторым толкователям основание полагать, будто он-то на самом деле и убил-с. Наконец, он обладает уникальным даром проповедника – иначе как бы прочие ночлежники поверили в его столь убедительные утешения? А утешает он всех: больную Анну, романтическую Настю, спившегося Актера, разорившегося Барона, опустившегося Бубнова, изувеченного Татарина… Только бывшего телеграфиста Сатина не утешает – потому что Сатин в этом и не нуждается. И Лука отлично чувствует это. По сути, они два главных героя

пьесы, но – и в этом впервые проявляется мастерство Горького-драматурга – прямого контакта между ними почти нет. Их спор – заочный.

Многие – и небезосновательно – видят в горьковской пьесе спор с Толстым и чуть ли не месть Толстому. Еще читая графу первую редакцию пьесы – ту самую, в которой покамест не было Луки, – Горький услышал от него недоуменный вопрос, очень его обидевший: «Зачем вы это пишете?» Самоцельное изображение низов и их страданий в самом деле было Толстому чуждо – хорошо, так вот же тебе, вот зачем я это пишу. *«Я хотел поставить вопрос о правде и сострадании»,* – признавался Горький впоследствии. Правда, увидеть в Толстом утешителя и сострадателя было уж совсем проблематично – скорей он похож на Луку, как Горький характеризовал его после, в поздней статье «О пьесах»:

> *«Наиболее распространен среди бродяг и странников „по святым местам“ утешитель-профессионал, ремесленник, он утешает потому, что за это – кормят… Есть еще весьма большое количество утешителей, которые утешают только для того, чтобы им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему притерпевшейся холодной души. Самое драгоценное для них именно этот покой, это устойчивое равновесие их чувствований и мыслей. Затем для них очень дорога своя котомка, свой собственный чайник и котелок для варки пищи… Утешители этого рода – самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные».*

Конечно, сказать о Толстом, будто он утешает, потому что за это кормят, – немыслимо ни при какой враждебности; ясно, что речь идет о другом – о его ко всему притерпевшейся душе, о внутренней холодности. Горький эту холодность чувствовал – и боялся ее, потому что сам так спокойно и свысока относиться к жизни не умел. Ему кажется, что вся толстовская программа действий – самосовершенствование, опрощение, ненасилие – как раз и есть паллиатив, сладкая ложь самоуспокоения; интересно, что против толстовской морали взбунтовался в свое время и Чехов. Видимо, эта мораль – в самом деле для очень сильных и очень счастливых людей; другим она не подходит – им без внешних перемен никак. Бунт Горького против Толстого, отразившийся в новой драме, – тоже в некотором смысле бунт против Бога, который вдобавок изображен весьма неприглядно. Чтобы противопоставить нечто утешительной проповеди Луки,

понадобился телеграфист Сатин, который и произносит гимн человеку; но – вот мастерство Горького, вот примета его ранних сочинений, где литературщина выворачивалась наизнанку! – этот гимн произносится спьяну, и хвалу человеческому всесилию провозглашает нищий, человек дна. Этот замечательный драматургический контрапункт – лишь одно из тех сильных противоречий, на которых держится пьеса: утешитель оказывается убийцей (ведь именно из-за него гибнет обнадеженный было Актер), нищий говорит о величии, а хозяин ночлежки Костылев – самое бессильное, больное и в конце концов гибнущее существо. Это контрасты простые, лобовые, но для театрального искусства ничего другого и не надо.

13

К постановке пьесы театр подошел весьма серьезно, как это вообще было свойственно раннему МХТ, во всем желавшему дойти до самой сути. Станиславский вспоминал:

«Нам захотелось видеть самую гущу жизни бывших людей. Для этого была устроена экспедиция, в которой участвовали многие артисты театра, игравшие в пьесе, – Вл. И. Немирович-Данченко, художник Симов, я и др. Под предводительством Гиляровского, изучавшего жизнь босяков, был устроен обход Хитрова рынка. Мы свободно осматривали большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало много усталых людей – женщин и мужчин, похожих на трупы. В самом центре большой ночлежки находился тамошний университет с их интеллигенцией. Это был мозг Хитрова рынка, состоявший из грамотных людей. Они ютились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми. Ночлежники приняли нас, как старых друзей, так как хорошо знали нас по театру и ролям, которые переписывали для нас. Мы выставили водку с колбасой, и начался пир. Особенно один из ночлежников вспоминал былое. От прежней жизни у него сохранился плохонький рисунок, вырезанный из какого-то иллюстрированного журнала: на нем был нарисован старик отец в театральной позе, показывающий сыну вексель. По-видимому, трагедия заключалась в подделке векселя. Художник Симов не одобрил рисунка. Боже! Что тогда поднялось! Словно взболтнули эти живые сосуды, переполненные алкоголем, и он бросился им в голову… Они побагровели, перестали владеть собой и озверели. Посыпались ругательства, замахнулись, ринулись на Симова… Но тут бывший с нами Гиляровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, ошеломив сложностью ее конструкции не только нас, но и самих ночлежников. Они остолбенели от восторга и эстетического удовлетворения».

Вообще этот быстрый переход от восторга к ярости и обратно называется эмоциональной лабильностью и сопровождает последние стадии распада личности вследствие алкогольной деменции; но артистов МХТ умилило и это. Кстати, Ленин, впервые посмотрев «На дне» уже после революции, отозвался о постановке кисло: ночлежные нравы и реалии показались ему недостоверными. Он в Германии и Швейцарии, в дешевых пансионах, навидался людей дна – и нашел, что Художественный театр их эстетизирует. Впрочем, первоначальный замысел пьесы, сводившийся к изображению ужаса жизни, давно

эволюционировал в дискуссию о правде. Феноменальный успех постановки, премьера которой была показана 19 декабря 1902 года, на теперешний вкус, пожалуй, необъясним – даже если учесть, что Сатина играл Станиславский, Барона – Качалов, а Луку – Москвин. Но именно успех «На дне» позволяет в какой-то степени понять и причины русской революции: она не была, конечно, марксистской или коммунистической, лишь в очень небольшой степени – пролетарской, и вообще причины ее были не в том, что большинство поверило большевикам, а в том, что это самое большинство – причем подавляющее – ненавидело жизнь, которой жило, и государство, которому служило. Ненависть эта была так сильна, а противоречия и глупости русского общественного устройства копились так долго, а механизмы для паллиативного лечения так долго и сознательно уничтожались, что в русском обществе вызрел социальный взрыв, о результатах которого никто толком не задумывался.

Мы-то уже знаем, что результатами всех таких взрывов, случающихся приблизительно раз в сто лет, бывают лишь восстановления прежних империй, но в сокращенном, упрощенном и ухудшенном виде. Причина же их очевидна: сложность и богатство русской культуры и мысли приходят в неразрешимое противоречие с убожеством государственного строя и взрывают его, как пальма проламывает теплицу. После этого пальма благополучно гибнет, а на месте прежней теплицы выстраивается новая, пониже и поплоше. Но пока идет общественный подъем, население восторженно поддерживает любой намек на социальное переустройство и восхищается всяким изображением своих язв: чем язвы кровавее и отвратительнее, тем сильней общественный восторг. Пьеса, получившая в итоге название «На дне», хотя Горький назвал ее «На дне жизни», обошла весь мир и до сих пор не сходит со сцены. А название сократил друг Горького Леонид Андреев.

Слово «друг» здесь не случайно. Пожалуй, это единственный человек, которого Горький называл другом с полным правом – так сказал он об Андрееве в день, когда узнал о его смерти в Финляндии, в изоляции и забвении, в феврале 1919 года. Их дружба, начавшаяся 12 марта 1900 года, выдержала все испытания, в том числе и самое суровое – испытание конкуренцией: начиная с 1907 года Горький уже не был самым известным писателем России. Он уступил пальму первенства Леониду Андрееву – пусть его известность и была более двусмысленной, а ругань в его адрес – более хамской. У Андреева-то не было за плечами босяцкого опыта, вызывающего инстинктивное уважение у русской критики.

14

Горький заметил его еще в 1898 году, прочитав «Баргамота и Гараську» и выделив в рассказе именно то, что любил использовать сам: иронию над фабульной схемой (в данном случае – над классическим пасхальным рассказом о кратковременном примирении социальных полюсов, городового и бродяги). Эта язвительная ирония, разъедающий скепсис вообще были характерны для Андреева, и там, где Горький останавливался, начиная благоговеть и восхищаться, он продолжал насмешничать или презрительно отворачиваться. Вообще они с Горьким были противоположны во многом – Андреев был малообразован и терпеть не мог чтения, Горький же читал с жадностью начетника. Андреев обожал мать, вырос в любящей семье – Горький не знал ничего подобного. Но оба любили в детстве опасные игры, оба вспоминали о том, как лежали на рельсах под товарняком, преодолевая страшный соблазн поднять голову, оба в юности прошли через попытку самоубийства (Андреев даже говорил, что человек, не пытавшийся убить себя, дешево стоит). Роднила их изобразительная мощь, но то, что у Горького было силой изображения, у Андреева чаще всего заменялось силой воображения. Конечно, как сочинитель, мыслитель, изобретатель фабул Андреев изощреннее и тоньше Горького; он, кажется, вообще был лучшим русским драматургом начала века и одним из самых мрачных, но сильных новеллистов. Горький – достовернее, приземленнее, и со вкусом у него дело обстоит лучше, хоть и далеко не так хорошо, как у Чехова: андреевских страстей, преувеличений и нагнетаний у него нет в помине. Правда, Андреев умел писать интереснее – вероятно, потому, что его сюжеты литературней, а физиологической, отвратительной правды у него меньше. Горький любил его ловить на незнании элементарных фактов и срезать. Но вот что роднило их по-настоящему – так это фанатичная любовь к литературе и признание ее единственным занятием, для которого стоило жить; говорить об этом деле они могли часами и раз, по признанию Горького, двадцать часов просидели за литературным спором, выпив два самовара (Андреев поглощал крепчайший чай в немыслимых количествах).

В 1901 году Горький привлек Андреева к сборникам товарищества «Знание», которое он вместе с издателем Константином Пятницким тогда возглавил. Это была одна из самых прославленных, заслуженно знаменитых культурных

инициатив начала века: «Знание» стало первым издательством не только для массового читателя, но и для демократического писателя, которому оно предложило настоящие гонорары. Поначалу Горький руководил издательством заочно – местом ссылки после Крыма ему определили Арзамас, – но уже с 1903 года поселился в Москве и взял дело в свои руки. Он выпускал под своей редакцией по четыре альманаха «Знания» в год – грамотно используя небывалый интерес к своему имени, как сказали бы сейчас. В «Знание» перешли почти все литераторы, которые в 1899 году вступили в созданное Николаем Телешовым товарищество «Среда» – клуб молодых социальных реалистов, собиравшихся по средам. На «средах» бывали и Андреев, и Бунин, и Куприн, и сам Горький, и недавно познакомившийся с ним Шаляпин.

15

К 1902 году авторитет Горького среди литераторов был столь высок, что его – после всего шести лет литературной деятельности – избрали почетным академиком Академии российской словесности, но Николай II не утвердил этого назначения, начертав резолюцию: «Более чем оригинально». В знак протеста из состава академии немедленно вышли Чехов и Короленко. Солидаризироваться с Горьким, дружить с ним, заступаться за него стало престижно – к нему потянулась вся молодая литература: Елеонов, Юшкевич, Скиталец, Гусев-Оренбургский, Куприн, посвятивший ему «Поединок», и десятки других, чьих имен сегодня никто не вспомнит. Их иронически называли «подмаксимками», словцо это пошло с шаржа Кока (Фидели), опубликованного в сатирической «Искре» в 1903 году. И они в самом деле подражали Горькому во всем – в манере носить усы, длинные волосы, широкие шляпы, в резкости и подчеркнутой грубоватости манер, даже в волжском оканье, которое и у Горького смотрелось довольно искусственно. Однако более модного течения, чем социальный реализм, и более популярного издательства, чем «Знание», в девятисотые годы в самом деле не было: понадобилась неудача первой русской революции, чтобы в литературе пышно расцвел декаданс, а социальный реализм несколько потеснился. Но и тогда «знаньевцы» не сдавали позиций, неизменно привлекая читательский интерес.

Горький читал, правил, доводил до издания сотни рукописей, проявив себя недюжинным организатором литературного процесса: в это время началась его титаническая редакторская работа, сопровождавшаяся написанием десятка писем-рецензий в день. Можно сказать, что это было следствием некоего собственного творческого кризиса – мол, оказался в тупике и занялся устройством чужих судеб, – но неверно и это: в 19031905 годах он пишет не меньше, чем раньше. Удивительно, что голова у него не закружилась, самомнения не прибавилось – разве что в статье «Заметки о мещанстве» 1905 года он позволил себе резкий отзыв о Достоевском и Толстом, приписав им болезненный интерес к страданию и неспособность изменить мир, и его основательно высекли за это либеральные публицисты, – но он ведь и раньше позволял себе спорить с Толстым лично и никогда не отличался преклонением перед авторитетами.

По-настоящему в его жизни изменилось одно: он сошелся с Марией Федоровной Андреевой, ведущей актрисой МХТ, и

расстался с первой женой, с которой сохранил самые дружеские отношения. Андреева была признанной красавицей и, что немаловажно, убежденной марксисткой: у тогдашних красавиц это было модно. Но увлечения Андреевой далеко заходили за пределы обычной моды: для нее партийная работа была, пожалуй, еще и поважнее сценической. Залучить Горького в свои ряды мечтали многие – особенно после 1905 года, когда в России появился парламент и легальные партии; но РСДРП расстаралась раньше других. Любовь к Андреевой была, конечно, не главным, но важным фактором в его эволюции: в 1904–1905 годах он все отчетливей дрейфует в сторону ленинской партии, хотя до личного знакомства дело пока не доходит. В эти годы он одну за другой пишет прославившие его пьесы: «Дачники», «Дети солнца», «Враги». Задушевнейшим его другом становится Шаляпин – оба много смеются тому, что жили на Волге в юности бок о бок, да так и не познакомились. Более того: в один день и час ходили наниматься в хор Казанского оперного театра. Горького приняли, Шаляпина – нет. Между Горьким и Шаляпиным существовала особенно безоблачная дружба – они-то друг другу никак не были конкурентами.

Что до отношений Горького с Андреевой, они с самого начала были непросты – здесь у него было многовато соперников, он не привык к этой ситуации. Бытовали даже версии, будто Андреева сошлась с Горьким по партийному поручению – глупость, каких мало; в романе ведущей актрисы с модным драматургом нет ничего необычного, но роман этот с самого начала сопровождался сплетнями и кривотолками, да вдобавок в Андрееву был страстно влюблен богатейший купец Савва Морозов, из тех купцов, о которых так долго мечтала русская интеллигенция. В нем не было ничего от широкого, звероватого волгаря с его сытостью, жестокостью и благочестием: Морозов был стремительный, резкий, необыкновенно умный и жадный до нового знания человек, страдавший, однако, продолжительными депрессиями, одна из которых и привела его к самоубийству. С Горьким они были знакомы еще по Всероссийской выставке.

Впоследствии, когда Морозов был коммерческим директором МХТ и со всей страстью мецената обустраивал этот лучший в России театр, они встречались регулярно – Горького поражала в Морозове его самоубийственная и во всяком случае нелогичная страсть к революционным теориям, уверенность, что только революция способна пробудить Россию и европеизировать ее. Сам он был далеко не столь радикален. Морозов много жертвовал на партию. Горький, хотя и располагал куда меньшими средствами, помогал РСДРП столь же регулярно.

16

Первая русская революция, грянувшая в 1905 году, окончательно превратила Горького в писателя политического и, более того, партийного. Как ни грустно, именно это оказалось причиной его будущей катастрофы, первые предвестия которой он ощутил уже в десятые годы, когда слава его резко пошла на убыль. Он впервые почувствовал лихорадку сегодняшнего, сиюминутного, живого делания жизни, участия в рискованной и непредсказуемой борьбе: об этом он подробно рассказал в очерке «9 января». Это лихорадочное возбуждение причастности к мировым судьбам чувствуется там необыкновенно остро – и всякому интеллигенту, пережившему в России 1991 и 1993 годы, оно прекрасно известно. Горький был хорошо знаком с Гапоном, о его провокаторстве, естественно, не догадывался и даже в страшном сне не представлял, что мирная демонстрация закончится расстрелом. Рабочие шли к Зимнему с весьма умеренной петицией, сводившейся к экономическим требованиям, – с 3 января бастовал Путиловский завод, началась всеобщая стачка, пошел слух о ее вооруженном подавлении. На улицах появились войска. Министр внутренних дел Витте принял общественную депутацию, Горький был в ней и предупредил министра, что если на улицах прольется кровь – правительство за это заплатит дорого. Он мог себе позволить такое заявление, несмотря на всю жесткость Витте: за этой жесткостью он слышал неуверенность, ту самую «усталость грома», о которой писал в «Буревестнике». В том-то и дело, что моральной правоты, необходимой для масштабных репрессий, российская власть за собой не чувствовала: сила еще была, уверенности – уже никакой. И потому, когда 9 января мирная демонстрация была расстреляна (а Николай II, отдавший приказ стрелять, даже отдаленно не представлял себе последствий), революция в России началась немедленно – при полном одобрении европейского общественного мнения: XX век еще не успел приучить людей к силовым подавлениям и публичным расправам.

Горький сам едва не погиб 9 января: впервые на его глазах расстреливали людей. Весь день он метался по городу, а вечером написал «Обращение» – от имени комитета, ходившего на встречу к Витте; там он призвал к открытой и непримиримой борьбе с самодержавием. Жене в Нижний он отписал об этом так:

> *«Итак – началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые – да не*

смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью».

Сразу после расстрела демонстрации, немедленно названного в народе Кровавым воскресеньем, он выезжает в Ригу, где опасно болела Андреева (у нее случился на гастролях перитонит). Характерно, что в том же письме он сообщает об этом бывшей жене и добавляет нечто весьма странное, даже и бесчеловечное: *«Это грозит смертью… Но теперь все личные горести и неудачи не могут уже иметь значения, ибо – мы живем во дни пробуждения России».* Каков пассаж?! У самого Ленина, неизменно озабоченного здоровьем жены, мы не найдем ничего подобного.

Воззвание Горького распространилось по Петербургу стремительно, полиция сработала оперативно, и в Риге, куда он отправился навещать больную Андрееву, его арестовали и этапировали обратно в Питер. В отдельной камере Трубецкого бастиона он пробыл месяц, пока не был выпущен под десятитысячный, гигантский по тем временам залог без права покидать столицу. Весь этот месяц шла беспрецедентная борьба за его освобождение: каждое представление его пьесы сопровождалось разбрасыванием листовок, каждый литератор считал долгом написать личное или подписать коллективное воззвание в его защиту. В заключении Горький написал пьесу «Дети солнца» – о преображении революционизированной интеллигенции. Он и не думал бежать от суда – напротив, требовал его, хотел, чтобы этот суд видела вся Европа. Дело было прекращено осенью 1905 года, во время небывалых политических послаблений.

Этой же осенью, сразу после Манифеста 17 октября, даровавшего свободу печати, слова и собраний, в Россию вернулся политэмигрант Ленин и озаботился созданием революционной газеты; уже 27 октября вышел первый номер «Новой жизни», созданной при ближайшем участии Горького. Газета была зарегистрирована на имя декадента Минского, в эти дни сильно «порозовевшего» и даже сочинявшего стихи с рефреном «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». А 27 ноября Ленин и Горький встретились впервые – на горьковской квартире. Эту встречу Горький запомнил плохо – у него был жар, вдобавок ему пришлось много говорить, рассказывать о похоронах Баумана, московской демонстрации, в которую они переросли, и об уличных столкновениях; Ленин слушал с напряженным вниманием.

2 декабря «Новую жизнь» закрыли за явную и демонстративную нелояльность – манифестной свободы слова

едва хватило на пять недель. Издание, впрочем, и так было обречено – в одну телегу впрячь не можно Ленина и Тэффи; однако тогдашней интеллигенции временный союз с радикалами казался возможным.

7 декабря Горький вернулся в Москву – и застал там полноценную всеобщую забастовку, сопровождавшуюся настоящими баррикадными уличными боями.

> *«Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине – идет бой. Хороший бой! Гремят пушки – это началось вчера с трех часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня… Рабочие ведут себя изумительно. Вообще – идет бой по всей Москве!»* – пишет он в письме К.П. Пятницкому.

Восторг его понятен: он, вечно сетовавший на всеобщую пассивность, увидел наконец живую, действующую, активную массу! Его бесят все, кто еще не выбрал, на какую сторону встать: памфлет «О Сером» – как раз о мещанине, не могущем выбрать между Красным и Черным. Горький так горит борьбой, что любой нейтралитет представляется ему гнусной трусостью. Одновременно он добывает деньги, оружие, хранит у себя на квартире бомбы и винтовки – революция захватила его всерьез. Ленин в восторге от его бурной деятельности и, как истинный политик, отлично понимает риск, которому Горький подвергается: после разгрома московского восстания его арест казался неизбежным, и партия здраво рассудила, что Горькому лучше уехать. Так началось его долгое заграничное странствие – он вернулся в Россию только в 1913 году. Всю так называемую эпоху реакции, семь лет – с 1907 по 1913, ему предстояло провести вдали от Родины – привычная участь для странника, но серьезное испытание для писателя, не владевшего вдобавок ни одним иностранным языком.

17

Сначала Горького отправили в Америку для пропаганды идей русской революции и, само собой, для сбора средств на залечивание ран. Горький обрадовался предстоящему литературному турне: они поехали туда вместе с Андреевой и приданным им для сопровождения большевиком Николаем Бурениным, их давним знакомцем и частым гостем. Поездка сопровождалась оглушительным скандалом – это о нем Горький рассказывал Ленину в 1907 году при встрече в Лондоне, вызвав его оглушительный, захлебывающийся хохот. «Это хорошо, что вы умеете иронически относиться к неудачам», – сказал Ленин, и правду сказать – ситуация в самом деле была трагифарсовая. Сначала Горького встретили в Америке триумфально, восторгались его героизмом и талантом, Андреева выступала переводчицей на пресс-конференциях, и все шло отлично. Он встретился с Марком Твеном, на которого был во многом похож – особенно в ранних самарских фельетонах; они с Твеном друг другу чрезвычайно понравились.

Но потом весть о том, что Горький с Андреевой не обвенчаны, просочилась в прессу, и началась первостатейная травля двух развратников, путешествующих по Америке во грехе и блуде. По предположению Буренина, информацию слил кто-то из эсеров, недовольных, что Горький собирает средства для большевиков; это мог быть Николай Чайковский. По другой версии, Чайковский просто знал о предстоящем «сливе», но Горького не предупредил. В результате хозяйка нью-йоркского отеля, где Горький с гражданской женой остановились, выставила их вон в три часа ночи: пока они были на очередном митинге, где Горький выступал перед рабочими, их вещи были собраны, кое-как разложены по чемоданам, а чемоданы – раскрытые, с торчащими концертными платьями Андреевой – выставлены в холл. Входить в этот холл им запретили, дабы не осквернять грехом дом добродетели: тащить чемоданы пришлось Буренину. Пять дней Горький перекантовался в писательском общежитии в центре Нью-Йорка, а потом Андреева получила прочувствованное письмо от богатой землевладелицы Престонии Мартин, которая – о, истинная американка! – не в силах была видеть, как огромная страна травит слабую молодую женщину.

Благородная Мартин предложила Горькому с супругой – или, точней, супруге с Горьким – пожить у нее в поместье, в двадцати пяти милях от ближайшего жилья, в усадьбе «Летний ручей». Там и была написана «Мать» – самая навязываемая при советской

власти и самая забытая сегодня книга Горького.

Горький и Андреева научили супругов Мартин русским выражениям – «черт побери», «спасибо» и «до свиданья». Они прозвали хозяев «Престония Ивановна» и «Иван Иванович» – хозяева переняли эти обращения. По вечерам все сходились к камину, Буренин играл Грига – Горький полюбил там Грига на всю жизнь. Иногда в гости заходили бывшие миссионеры, недавно вернувшиеся из Японии, – мистер и миссис Нойз. Они были в чем-то сродни Горькому – миссионеру, проповедовавшему в Америке идеи русской революции, – и прониклись к нему безоговорочным доверием. Миссис Нойз умела всякие штуки – ловко изображала эквилибристку на проволоке. Мистер Нойз тоже много чего умел – изображал человека-скелета под ритмичную дребезжащую музыку. Горький одобрительно приговаривал: «Ритм – душа музыки». Вообще-то пословица утверждает, что душа музыки – мелодия, и эта горьковская поправка весьма символична: в его собственных текстах ритм важней мелодии, композиция оригинальнее словесной ткани.

Слова могут быть и случайны, и избыточны, и даже пошлы, – но железное, точно выверенное построение спасает вещь от банальности. Так было и с романом «Мать» – написанным высокопарно и водянисто, но в конце достигающим нужного впечатления. Ниловна органично вошла в круг великих бунтарок русской литературы, от Катерины Островского до Любови Яровой Тренева. Многим бунт ее казался немотивированным, надуманным (хотя Горький клялся, что дословно описал историю матери сормовца Петра Заломова, и собирался описать его последующую каторжную одиссею в романе «Сын») – но как раз необразованная, забитая, не привыкшая думать о себе Ниловна и была внутренне готова к этому бунту: только из темной бездны, в которой она жила, свет революционной проповеди мог показаться ослепительным. Много написано о библейской стилистике романа, о попытке Горького написать пролетарское евангелие – это отчасти верно: то, что Горького не увлекал марксизм, но увлекала мечта о новом человеке и новом Боге, – кажется очевидным. Да и смешно требовать, чтобы поэт вдохновлялся марксизмом. Главная идея «Матери» – идея нового мира, и символично, что место Бога-Отца в нем занимает Мать. С Богом-Отцом Горький никогда не мог договориться, всегда спорил с его жесткими установлениями; то, что у истока нового мира стоит Мать, сразу говорит о том, что этот мир воздвигнется любовью. Сцены собраний рабочего кружка выдержаны в той же квазибиблейской стилистике: они напоминают тайные встречи апостолов. Разумеется, новый мир определяется не тем, что там

будут хорошо платить за работу, сытно кормить и бесплатно развлекать. В этом мире между людьми начнутся наконец человеческие отношения – те отношения, которые существуют между Власовым, Наташей, Андреем Находкой… Это люди, которым есть дело друг до друга, – это-то и поражает Ниловну, это и воскрешает ее душу; вообще в романе есть все, чтобы тронуть рабочего и сельского читателя, но при этом и заставить интеллигента задуматься – там ли он ищет Бога? Кстати, наиболее непримиримые отзывы на «Мать» пришли именно от философской интеллигенции – Гиппиус, Мережковского, Философова; русская критика вообще недолюбливала эту книгу, изданную по-русски с огромными цензурными изъятиями. Зарубежные издания на русском языке появились в 1907 году, когда Горький жил уже в Европе.

20 октября 1906 года он прибыл на остров Капри, которому предстояло теперь навеки добавить к своей славе «острова сирен» и «острова Тиберия» славу горьковской резиденции. И в Неаполе, и на Капри, где он поселился поначалу в «Квисисане», Горького встретили триумфально. Италию он полюбил страстно – она стала для него чем-то вроде улучшенной России, с более веселым и дружелюбным народом, более мягким климатом и, как ни странно, куда более умеренными ценами. Ныне Капри – одно из самых дорогих мест в мире, но в те времена остров славился дешевизной.

Горький выезжал отсюда редко и неохотно – разве что на лондонский съезд, на котором ему случилось поговорить с Лениным уже по-настоящему, обстоятельно и заинтересованно. Ленин был для Горького на протяжении многих лет образцом того самого нового человека, о котором он страстно мечтал и которого почти не встречал в реальности; и надо сказать, основания для такого отношения у него были. Абсолютное бескорыстие, столь же абсолютная преданность делу, юмор, неизменный при всем догматизме, и полное отсутствие рисовки – все это было непривычно; Плеханов, которого Горький хорошо знал по журналу «Жизнь», вел себя совершенно иначе. Трудно сказать, действительно ли подслушал Горький слова рабочего-делегата «Плеханов – наш учитель, наш барин», но сам он воспринимал его именно так. В Ленине его завораживали оптимизм и готовность к активному действию, европейская работоспособность и отсутствие азиатской пассивной мудрости – словом, этот человек соответствовал своей репутации. В первый момент, правда, он разочаровывал – так ли должен выглядеть вождь?! – но вскоре становилось ясно, что только так и должен: логичен, ясен, заразительно энергичен. Разумеется, в очерке

Горького о Ленине много елея, много и смешных, двусмысленных деталей – чего стоит сцена, в которой Ильич щупает, сухие ли у Горького простыни; но за всем этим проступает на редкость привлекательный образ – особенно заметна феноменальная ленинская наивность: он в самом деле полагал, что может использовать историю, повелевать ею… На деле все обстоит ровно наоборот – история воспользовалась им для разрушения и реставрации империи, для того, на что у династии Романовых не было ни сил, ни легитимности; но это выяснилось куда позже. Пока же Горький заряжался от Ленина оптимизмом – сильно поубавившимся после поражения русской революции.

А поражение было серьезное: в России воцарился Столыпин – помещичий премьер, доныне служащий кумиром консерваторов и националистов. Выдвинут был тезис о великой России, которая нужна Столыпину и его единомышленникам, а великие потрясения, стало быть, не нужны. Увы – консерваторам всегда невдомек, что без великих потрясений великой России не бывает; но в стране наступила полновесная реакция, и чуткая к переменам интеллигенция, только что носившая красные банты и восторженно приветствовавшая свободу слова, интенсивно занялась проблемой пола и мистическими исканиями. Горький вспоминал об этом времени как о мрачнейшем – может быть, это его счастье, что угрюмый этот период ему довелось провести в прекрасной Италии. Российская слава Горького переживала в это время серьезный упадок: он окончательно и бесповоротно вышел из моды. О нем помнили, его печатали – но подражать ему уже не хотели; авторов «Знания» переманил «Шиповник»; Андреев писал мистические драмы, Куприн – эротические стилизации, Горький неистово ругал их, но прежнего влияния не имел.

В это-то грустное время он вместе с несколькими единомышленниками и задумал создать на Капри партийную школу для рабочих-эмигрантов, а заодно придумать русскому большевизму чуть более человеческое лицо. Он решительно не понимал – почему его прекрасные друзья Ленин, Луначарский и Богданов все время ссорятся; на его взгляд, это были ссоры из-за догмы и буквы, а социализм ведь живое, веселое, человеческое дело, и делать его надо без инквизиторства! Так возникла идея каприйской школы – едва ли не самая перспективная ересь в истории русской революции. Уже в 1907 году Горький сочинил «Исповедь», которая, по мнению Гиппиус, сильно повысила его акции в среде интеллигенции. Конец девятисотых годов прошел у сорокалетнего Горького под знаком богостроительства – идеи, от которой он так никогда и не отказался вполне.

18

По идее, богостроительство мало чем отличалось от послереволюционного обновленчества, церковного течения, в презрении к которому сходятся почти все конфессии и даже многие атеисты. Их-то и предавали анафеме с обеих сторон – и со стороны радикального большевизма, и с позиций ортодоксии. Нельзя мирить Христа с антихристом. Правда, множество церквей были обновленцами спасены, но репрессий практически никто из них не избег. Только имена свои замарали.

Есть половинчатые, примиренческие фигуры, которых не уважают ни союзники, ни оппоненты: это люди, пытающиеся изо всех сил натянуть на монстра резиновую маску под названием «человеческое лицо». Иногда таким соглашателям везет больше, иногда меньше, но обычно слава их в потомстве незавидна. Так не повезло Луначарскому, наркомпросу с репутацией либерала, который, однако, именем своим и авторитетом помогал сначала вводить в заблуждение, а потом и гробить русскую интеллигенцию, но все это из лучших побуждений. Такова же участь Богданова – сначала марксиста, потом все более убежденного противника марксизма. Горький очень его любил.

Сама идея богостроительства наиболее четко сформулирована все тем же Горьким, который вообще в этой компании лучше всех выбирал выражения. «Исповедь» – вещь довольно пошлая, писанная лесковским страннническим слогом, проникнутая экзальтацией, какая случается в сектантских, скопческих в особенности писаниях. Там герой все думает – отчего Бог так мало любит людей? Он отправляется странствовать и в глухом лесу обнаруживает отшельника (любимый горьковский тип народного учителя веры), который и открывает ему глаза: Бога еще нет, Его предстоит создать коллективным усилием. В доказательство истинности этого учения происходит и чудо: когда воодушевленная толпа рабочих проходит мимо церкви, исцеляется паралличная. Бога должны создать простые трудовые люди, этим Богом будет их коллективная совесть, – в таком примерно духе рассуждал тогда Горький, и учение это как нельзя лучше выражало его сущность. Собственно людей, живых, реальных, он терпеть не мог, потому что слишком многого в жизни насмотрелся, – и потому со всем пылом души любил какого-то абстрактного, никогда не бывшего, никем не виданного Человека, помесь Заратустры и Манфреда, и при этом желательно молотобойца. Вот этот-то человек, влюбленный в Истину, Добро и Красоту, все время куда-то шагающий, что-то покоряющий, – и

был его героем, и в расчете на такого человека строился социализм с каприйским лицом.

В Италии все вообще очень способствует строительству гуманизированного социализма. Даже и самые противные черты этой страны – известная ксенофобия, хроническое раздолбайство, крикливость, жадность, дороговизна, беспрерывный колхозный рынок на мраморных руинах – все искупается фантастической синевой неба и моря (наше крымское море зеленей, небо бледней); тут тебе и курящиеся вулканы, и горы в дымке, и щедрое до назойливости солнце, и мгновенные переходы населения от бурных объяснений к столь же бурным изъявлениям нежности, – короче, нигде в мире идея монстра с приличной и даже гуманной внешностью не осуществляется столь буквально (при том, что каждую секунду вам старательно напоминают о вашей чужеродности, мгновенно просчитывают вашу цену и накалывают круче, чем в Одессе). Социализм тогда рисовался Горькому как сплошной праздник людей труда; тот факт, что итальянские люди труда склонны к праздности вообще и выпивке в особенности, казался ему выражением природной склонности к социализму, и все будущее человечества в идеале выглядело как один большой каприйский праздник с фейерверками. Этот дух сельского праздника запечатлен в «Сказках об Италии», которые на сегодняшний вкус читать решительно невозможно (Горький и сам не любил их). Мудрено ли, что именно в Италии процвело течение, которое Ленин впоследствии заклеймил как самую гнусную, самую не социал-демократическую ложь, – а именно богостроительство, марксизм в очеловеченном варианте, который до последних дней так нравился перековавшемуся, но мало менявшемуся Луначарскому (Луначарский совершенно не умел грести, Горький его учил, они целыми днями катались от порта до так называемых морских ворот – огромной скалы с аркой – и обратно)…

Если почитать «Исповедь», да просмотреть любую из работ Богданова про общественное сознание, да пролистать статьи и речи Луначарского – возникает ощущение такого густого, слащавого, олеографического дурновкусия, что хоть всех святых выноси. И вероятно, фальшивый марксизм с человеческим (а тем более с Божьим) лицом еще хуже марксизма ленинского, предельно плоского и жесткого, лишающего мир какой бы то ни было прелести. Но организованная каприйцами школа была едва ли не самым симпатичным – ежели взглянуть ретроспективно – социалистическим мероприятием за всю историю РСДРП: Горький селил на вилле Блезус, кормил и поил два десятка русских рабочих, и в их числе красавца Вилонова с отбитыми почками и

легкими. Вилонов этот, вначале горячий горьковский соратник, позже от богостроительства отрекся и перешел на сторону Ленина. Но поначалу все были едины, трогательно монолитны, все отдыхали, отъедались, рыбачили и слушали лекции. Горький читал историю литературы, Луначарский – историю философии, Богданов – экономику, Покровский – краткий курс истории России (который он выпустил в 1920 году с ленинским предисловием – Ленин, надо отдать ему должное, умел ценить истинных соратников, хотя бы и бывших оппонентов). Такая была Телемская обитель – загляденье.

Ленину, естественно, это все очень не понравилось. Горький ему пытался разъяснить, что под словом «Бог» он понимает ограничение животного эгоизма в человеке, совесть, грубо говоря, – Ленин в ответ разразился знаменитой тирадой о том, что всякий боженька есть зло, мерзость, отвратительнейшая ложь… К Богу у Ленина была необъяснимая, бешеная ненависть, не имеющая ничего общего с холодным атеистическим отрицанием. Оба раза на Капри – в апреле восьмого и в июле десятого года – Ленин с Горьким отчаянно спорил, наотрез отказался прочесть хотя бы одну лекцию в его школе и под конец эту школу вообще, по сути, упразднил. Он устроил свою, альтернативную, в Лонжюмо, – и большая часть пролетариата потянулась к нему. Так решилась на Капри судьба русской революции – победила ленинская простота, исключавшая всякий идеализм и всякое милосердие.

«В Лонжюмо теперь лесопильня. В школе Ленина? В Лонжюмо? Нас распилами ослепили бревна, бурые, как эскимо», – удивлялся Вознесенский, не понимая, как это местность, связанная с именем вождя, может быть используема в каком-то ином, не музейном аспекте. На вилле Блезус теперь отедь «Крупп». И все опять справедливо: каприйская школа с парижской так же примерно и соотносятся, как лесопильня с отелем. Горький всех кормил, Ленин всех пилил.

Впрочем, их не поссорило даже это. Оба знали друг другу цену: Горький понимал, что за Лениным будущее, – Ленин понимал, что без Горького до этого будущего не добраться. После краха каприйской школы Горький горевал недолго. Он взялся писать – и скоро на Капри были написаны лучшие его сочинения, в середине десятых годов властно вернувшие ему славу первого прозаика России.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
БЕГЛЕЦ

1

Каприйская жизнь Горького, разумеется, не сводилась к литературным и политическим дискуссиям. Это был, наверное, первый период в его биографии, когда он мог позволить себе просто жить – не отвлекаясь на необходимость постоянно поддерживать имидж нового классика, пролетарского прозаика, борца, народного героя и т. д. Здесь его мало кто знал – знали, что русский писатель, высланный царем, знали, что не бедный и щедрый гость, но представления эти были самые общие. Здесь не было российского ревнивого и придирчивого досмотра, не было постоянной слежки – а достаточно ли Горький равен себе? Не обуржуазился ли? Не забронзовел ли? Это вообще очень русская особенность, давящая на всякого местного жителя, как атмосферный столб: в несвободных сообществах все особенно внимательно наблюдают друг за другом – не даст ли кто слабины или промашки, которую потом можно будет использовать для доминирования, для своевременного попрека? А Горькому многого не прощали – славы, денег, чистой репутации (он не был замечен в компромиссах с правительством, много помогал нуждающимся, тщательно выстраивал образ). В России каждый – а заметный и известный человек в особенности – живет под прицелом тысяч недоброжелательных глаз. Мало кого из русских классиков так любили, но и мало кого ненавидели, как Горького. В Италии он расслабился – здесь каждый мог себя вести как ему угодно.

Любимым развлечением тут была рыбья охота – так называли рыбалку, поскольку на обычную рыбалку она походила мало. На леску тут удили только мальчишки – они и сейчас вас охотно поучат, как учили Ленина, удить на палец: «дринь-дринь!» Серьезные рыбаки ловили акул, и это было мероприятием рискованным и долгим. Михаил Коцюбинский, украинский писатель, любимец Горького (он и в самом деле был отличным прозаиком – сегодня его направление называется «магическим реализмом»), описывал каприйскую рыбалку так: «Попадаются маленькие и большие акулы. Последних должны убивать в воде, потому что втаскивать их живыми в лодку опасно, могут откусить руку или ногу… Каких только рыб не наловили… Наконец вытащили такую большую акулу, что даже страшно стало. Это зверь, а не рыба. Едва нас не перевернула, бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которой поместилось бы две человеческих головы, и светит и светит зеленым дьявольским глазом, страшным и звериным. Ее

нельзя было вытащить, ее обмотали веревками, били железом и привязали к лодке». Иная акула, как описано в воспоминаниях художника Бродского, утаскивала лодку от берега на километр – ее добивали в море и назад волокли на буксире. Акулье сердце предподносили наиболее почетному гостю, и оно, уже вырезанное из туши, билось еще часа два. После охоты принимались за каприйскую уху, много пили (Горький отличался способностью никогда не пьянеть) и купались (он не очень любил это занятие, смотрел с берега).

Для большинства российских прозаиков эмиграция была тяжелым испытанием из-за непроходящей ностальгии – случай Горького, однако, и здесь был несколько иным: он хорошо знал Россию, и не с лучшей стороны. Он держался довольно долго: несмотря на свой отзыв об Америке как о нелепейшей стране, в которой «кожа на спине может лопнуть от смеха», – признавал в письмах, что в России сейчас хуже, тошнее. О предстоящей поездке по Европе думал с радостью. В первые каприйские годы мы не найдем в его письмах никакого умиления, никакой тоски при воспоминании о родине. Лучшим из того, что написал он о России, многие – в первую очередь Корней Чуковский – признавали повесть «Городок Окуров», написанную в 1909 и опубликованную в 1910 году. Эта вещь действительно особняком стоит в горьковском творчестве – с нее, пожалуй, зрелый Горький и начинается. Она в чем-то сродни бунинскому «Суходолу» – поэма в прозе, бессюжетная, подробно-внимательная, воспевающая и мифологизирующая самый заурядный, рутинный провинциальный быт. Но и здесь чистой ностальгии и тем более умиления нет и следа: есть попытка хоть издали разобраться в том, что такое Россия. Этот вопрос все время задают себе герои – провинциальные мудрецы, чудаки, силачи, лентяи, пьяницы, гулящие девки, – но ответа у них нет, да и автор молчит, и Бог не спешит с пояснениями… Все есть – красота, выдумка, сила (в горьковском Окурове процветает древний промысел – там вяжут удивительной красоты шерстяные платки, шали, платья, весь базар завален пестрыми и теплыми чудесами, и сам Окуров – пестрое пятно на серой русской равнине). А жизни нет, жить, по-горьковски говоря, некуда. Этой неприкаянностью, скукой, тоской томится все окуровское население, и заглушить эту тоску бесцельности нельзя ни водкой, ни любовью, ни драками (хотя ничем из этого набора окуровцы не пренебрегают). Правду сказать, этот яркий, душный, бессмысленный быт написан здесь у Горького не просто убедительно и пластично, но и музыкально, с той великолепной и экономной точностью, какой в его ранних сочинениях не встретишь.

«Был конец августа, небо сеяло мелкий дождь, на улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами, колокольчик звенел, бухали бондари по кадкам и бочкам».

Это почти стихи – тут и ритм, и звукопись («Бухали бондари по бочкам»), и такие пейзажи в повести – чуть не на каждой странице. Портреты персонажей впервые скупы – и притом запоминаются мгновенно. Многие критики сетовали на то, что Горький берет количеством, что героев у него больше, чем нужно (и это тоже очень русское – в России полно людей, чувствующих себя лишними, они ни к какому делу не пристроены, потому что и дел мало, и нет того общего замысла, который бы всех выстроил и каждому отвел роль). В горьковской прозе действительно тесно от случайных людей, как в вагоне третьего класса, – но в Окурове все они впервые на месте, за каждым – тип, и каждый обрисован двумя-тремя исчерпывающими штрихами. Фабула повести сводится к трем событиям – это японская война, прекращение почтового сообщения с Окуровом (почта вдруг задержалась, и город ощутил себя отдельным от России), а ближе к концу – убийство Семена Девушкина, молодого поэта, немного юродивого. Задушил его из ревности Вавила Бурмистров. Одновременно, в пятом году, доходит до Окурова манифест: «Всем свобода вышла!» По случаю этой свободы в городе начинается то же, что обычно, – драка, приходившаяся обычно на Михайлов день. Примечательно, что провинциальная Россия дана у реалиста Горького теми же красками, с совпадением многих деталей, что и у сновидца-символиста Сологуба в «Мелком бесе»: тут и скука, и жестокость, и красота, и пестрота, и небывалое буйство фантазии, иногда изощренно-садистской, иногда празднично-творческой. И все это – без смысла и выхода, без движения. Окуровская тема продолжается у Горького в «Жизни Матвея Кожемякина» – самом большом его романе до «Жизни Клима Самгина».

2

Роману этому в общественном мнении не повезло, сегодня его вообще вряд ли кто вспомнит, и это, сколь ни грустно, по заслугам: большая форма Горькому не давалась, да и вообще, страшно сказать, русский роман начала века почти всегда плох. Кто тогда писал настоящую крупную прозу, пережившую свое время? Семейная сага не складывалась: у России не было ни своих Будденброков, ни своих Форсайтов, да и вообще тут никто не умел писать большие романы, кроме Толстого и Достоевского. Связано это, вероятно, с тем, что для большого романа требуются, как говорил Мандельштам, «десятины Толстого или каторга Достоевского» – или, скажем проще, толстовская вера в прочный уклад традиции и столь присущее Достоевскому неверие в него, страх грядущей разобщенности, уверенность в торжестве душевной болезни над душевным здоровьем. При Чехове этот уклад уже сыпался, а для Горького его изношенность и несоответствие времени были более чем очевидны. Для Толстого дворянство, народ, интеллигенция – все еще единое тело, каждый знает свое место и на этом месте старается; в десятые годы XX века было уже несколько России, никак не совмещавшихся в одном сюжете, а про отдельную провинциальную или интеллигентскую Россию эпического романа не напишешь. Оставалось либо фантазировать – как Сологуб в «Творимой легенде», но тоже ведь ничего хорошего не вышло, – либо бытописать, как Горький в «Жизни Матвея Кожемякина», но у романа нет единого стержня, события сменяют друг друга нудно и произвольно, и самое частое слово в этой книге – «скука». Жизнь проходит, словно и не была. Люди друг другу безнадежно чужды. Нет ни общего дела, ни общих ценностей. И сам Кожемякин записывает итог своей жизни:

> *«Страшна и горька мне не смерть, а вот эта одинокая, бесприютная жизнь горька и страшна. Как это случается и отчего: тьма тём людей на земле, а жил я средь них, будто и не было меня. Жил все в бедных мыслях про себя самого, как цыпленок в скорлупе, а вылупиться – не нашел силы. Думаю – и кажется мне: вот посетили меня мысли счастливые, никому неведомые и всем нужные, а запишешь их, и глядят они на тебя с бумаги, словно курносая мордва – все на одно лицо, а глаза у всех подслеповатые, красные от болезни и слезятся».*

Как ни мало похож Кожемякин на Горького, а здесь и его собственный стон: почему ему всегда, везде скучно? Почему он прошел по жизни, ничего не задев, не тронув, не изменив – даром что деятельность его была огромной и бурной, а слава беспрецедентной? В Европе такой богатырь шатал бы государства, и недаром в Италии его имя до сих пор окружено благодарной памятью – а в России сегодня все чаще вспоминают с презрением и скукой. Дело в том, что в «Жизни Матвея Кожемякина» впервые появляется страшное чувство бесплодности всякой деятельности; да ведь и вся большая проза Горького – «Фома Гордеев», «Трое», «Окуров» – именно о том, как приходят в русский замкнутый мир большие, сильные, уникально одаренные люди – и гибнут бесплодно, ничего не сдвинув с места. Каких только задач он себе не ставил, какой титанический путь прошел! И все это ни на секунду не потревожило темной русской глубины – так, произошло какое-то шевеление на поверхности… Все герои «Кожемякина» жалуются – себе, друг другу, старцу на исповеди: «Тоска смертная, места себе не нахожу, покоя не вижу…» Почему? Да потому, что смысла нет ни в чем, ничего в часовом заводе этой жизни не поменяешь, и тщета всех усилий рано или поздно начинает душить любого. Правда, завелись в Окурове под конец какие-то новые люди, которые вроде бы живут не для одних себя, – тут Горький, как всегда, с оптимизмом смотрит на ссыльных и на марксистов, но не потому, что любит Маркса, а потому, что видит в них принципиально новую для России формацию верящих во что-то, разумных и деятельных людей. Но изображены они в «Кожемякине» столь схематично и поверхностно, что особой веры в их искупительную роль и грядущую победу читатель не ощущает. Какой контраст между этими унылыми книгами – и «Сказками об Италии», пусть лакированными, восторженными, многословными, но жизнерадостными, сияющими! Конечно, Италия Горького мало похожа на Италию настоящую – она увидена иностранцем, принципиально романтизирующим тут все; но жизнь здесь пронизана смыслом – хотя бы потому, что имя Божье здесь не пустой звук. И не зря весь цикл венчается убежденным: «И все мы воскреснем из мертвых, смертию смерть поправ!» Правда, Христос здесь скорее языческий – он назван «богом весны», – но радость подлинная, и чувство единения – тоже настоящее. В горьковском мире Россия и Италия – как земля и море.

> *«Коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль, – многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует*

так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости – мало!»

3

Но и в эту безрадостную Россию Горький надеялся вернуться – тоскуя не столько по ней, сколько по настоящей работе. Италия даже Леониду Андрееву, куда более склонному к романтике, показалась ненастоящей, нарисованной, кукольной – Горький и подавно не чувствовал тут настоящего биения жизни, да и по организаторской работе скучал (в Италии она ограничивалась заботой о русской колонии да праздниками для местных детей). Как только в России была объявлена амнистия по случаю трехсотлетия дома Романовых, Ленин отписал Горькому: «Литераторская амнистия, кажись, полная» – и предложил разузнать о возможном возвращении. Весь тринадцатый год Горький писал «Детство» – вещь, признанную классикой сразу после публикации в «Русском слове»; и это действительно очень хорошая проза, почти не испорченная авторскими теоретическими отступлениями; но в обращении к собственному прошлому сказывался кризис, нехватка новых сюжетов. Чем и как живет новая Россия – он не знал, а по литературе об этом судить не мог, потому что реалистическая литература в это время, по сути, кончилась. Главной литературной модой был модернизм, главным приемом – стилизация, журналы были забиты фантастическими, историческими и эротическими новеллами, а по такому роману, как «Петербург» Андрея Белого, законченному в том же 1913 году, мудрено было что-нибудь понять о российской действительности. Об этой новой литературе Горький писал еще в 1908 году, в статье «Разрушение личности», довольно точно предсказавшей деградацию русской общественной жизни во времена так называемой реакции.

> *«Современного литератора трудно заподозрить в том, что его интересуют судьбы страны. Даже „старшие богатыри“, будучи спрошены по этому поводу, вероятно, не станут отрицать, что для них родина – дело в лучшем случае второстепенное, что проблемы социальные не возбуждают их творчества в той силе, как загадки индивидуального бытия, что главное для них – искусство, свободное, объективное искусство, которое выше интересов эпохи. Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психологически здорового человека, который, сознательно или бессознательно, не тяготел бы к той или иной социальной группе».*

Далее в этой статье Горький доказательно обвиняет русскую литературу в сознательном принижении русского революционера, а то и в прямой клевете на него – под видом объективности. Трудно, однако, согласиться с ним: если вся русская литература девятисотых и десятых годов видела революционера человеком жестоким, самоуверенным, узким до маниакальности, а то и психически неуравновешенным, и только Горький бесперечь идеализировал своих борцов за светлое будущее, – приходится признать, что одной его романтической мечте не перевесить эти десятки свидетельств, хотя бы все его современники и находились в плену антинародных предрассудков в силу принадлежности не к тем социальным группам. Зато в другой констатации он был прав безусловно: эпоха разрушения личности началась. Пришло время массовых движений, массовой культуры и даже массовых галлюцинаций; и в этом смысле статья Горького «Разрушение личности» предсказала статью Блока «Крушение гуманизма». А уж в каких формах осуществляется это крушение – победивший ли пролетариат устанавливает свои правила, победивший ли обыватель диктует свои вкусы, – оказывается непринципиальным: личности и так и этак несладко.

4

В декабре 1913 года Горький вернулся в Петербург. Никаких препятствий ему не чинили – правда, российский консул в Неаполе предупредил, что могут арестовать, но никто его не арестовывал, и даже слежка возобновилась не сразу. Возвращение Горького сопровождалось потоком приветствий от рядового читателя – самого низового, мещанского и пролетарского, и даже от крестьян Новоторжского уезда, что почему-то тронуло его особенно. Конечно, это не могло сравниться с бурными овациями 1928 года, когда его на руках несли от Белорусского вокзала до квартиры, – но многие сочли приезд Горького обнадеживающим знаком благих общественных перемен. Он поселился под Питером, в поселке Мустамякки, и тут же окунулся в родную организаторскую деятельность: затеял издательство «Парус», организовал журнал «Летопись» и возглавил в нем художественный отдел, собрал и отредактировал сборник рассказов пролетарских писателей, литераторов из народа.

> *«Все больше присылают неуклюжих стихов, неумелой прозы и все выше, бодрей звучат голоса пишущих; чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром, как в маленьком человеке растет стремление к большой, широкой жизни, жажда свободы».*

В это время он радостен и полон праздничных предчувствий: ему кажется, что новый революционный подъем не за горами и что это будет подъем культурный. Пролетарии поумнели, численно выросли, учатся читать и думать – короче, мрачная эпоха позади. *«Никогда я не чувствовал себя таким нужным русской жизни и давно не ощущал такой бодрости»,* – напишет он в письме. Но радовался недолго – война 1914 года, вскоре захватившая в свою орбиту весь мир, повергла его в глубокую депрессию.

Как всегда, внешние вызовы спровоцировали в России вал внутренних репрессий: среди революционеров начались массовые аресты – видимо, ради консолидации Отечества и устранения разлагающего элемента. Война расколола русскую литературу – и русское общество, – и это как раз первый признак глубокой, запущенной болезни: здоровые сообщества в испытаниях закаляются и объединяются, в больных же до предела обостряются все расколы. Война 1914 года рассорила даже таких

испытанных друзей, как Горький и Андреев, которых до сих пор не развели ни медные трубы, ни критические наветы. Огромное большинство русских литераторов (и большая часть интеллигенции) восприняли войну с облегчением и радостью. Отчасти их можно понять – писатели и интеллигенты в массе своей неврастеники, а для них долгое ожидание бури всегда тягостней, чем сама буря. Прорвался нарыв – ну и хорошо, и начнется наконец что-то новое. Вдобавок Андреев – вечный идеалист, утомленный годами столыпинской «стабилизации» и последующей стагнации, верил, что огонь войны очистит Россию, что в ней появятся наконец сильные и смелые люди, которые сумеют выволочь страну из безвременья; Горький, напротив, полагал, что этих-то лучших людей война и уничтожит в первую очередь. И если Горький в «Летописи» повел ярую антивоенную пропаганду, то Леонид Андреев, назначенный редактором художественного отдела в новосозданной откровенно шовинистической газете «Воля России», стал соблазнять коллег огромными гонорарами, чтобы они вместе с ним пытались возродить русский патриотизм – даром что любить такую Россию и гибнуть за нее было в самом деле весьма затруднительно. Можно по-человечески понять и Горького, и Андреева, и главное – не скажешь, за кем была окончательная правота: Россия – такая страна, что ее нет здесь ни за кем. Прав Горький – война уничтожила Россию. Но прав и Андреев – без войны нельзя отковать нацию. Таким народообразующим фактором стала для России Великая Отечественная – она-то и создала такую общность, как «советский народ», сколько бы сегодня нас ни уверяли, что такой общности никогда не было. Но в России 1914 года не было идеи, способной поднять народ на войну, – а потому и не сбылась андреевская утопия российского возрождения. Вообще же в таких дискуссиях лицо сохраняет тот, кто выступает противником кровопролития. Горький выглядел лучше Андреева – и сознавал это.

К 1915 году относится и начало его короткой, но бурной дружбы с Маяковским: эта двусмысленная история, пожалуй, единственный столь наглядный случай отвергнутого покровительства во всей горьковской литературной биографии. Канонизированные впоследствии как два главных певца революции, соратники и чуть ли не друзья, соседствующие на фронтонах всех советских школ, – этой репутации они соответствовали очень мало: Горький не принял революции, Маяковский не принял Горького. Что между ними произошло – понять сегодня трудно. Начиналось превосходно: Горький любил покровительствовать молодым талантам, ибо все еще ощущал

себя лидером отечественной словесности (по числу переводов и упоминаний в прессе так оно и было) и полагал своей первейшей обязанностью с высоты этого положения помогать начинающим. Начинающие – если только не были пролетарскими писателями, нуждавшимися в элементарных советах и публикациях, – далеко не всегда относились к этому восторженно. Маяковский с его болезненным самолюбием вообще терпеть не мог опеки, хотя бы и самой доброжелательной. Справедливости ради заметим, что горьковская опека и покровительство продолжались ровно до тех пор, пока опекаемый не входил в славу; после этого Горький к нему, как правило, охладевал – то ли отчасти ревнуя, то ли огорчаясь, что автор пошел своим путем, а не тем, который ему предначертан покровителем. Так было с Куприным, отчасти с Буниным (хотя инициатором разрыва был как раз Бунин), с Леонидом Леоновым – из всех учеников и подопечных добрые отношения сохранились только с «Серапионами», ностальгически напоминавшими ему о прекрасной петроградской поре, о двадцать первом годе, Доме искусств, «Всемирной литературе», – но это можно объяснить и тем, что из «Серапионов» никто, кроме Зощенко, выше тогдашних писаний не поднялся: и Федин, и Всеволод Иванов – по крайней мере в опубликованных текстах – быстро деградировали сообразно велениям времени.

Что касается Маяковского, он и в ранние годы был не самым легким собеседником, вел себя вызывающе, а часто и попросту безобразно. Что тут было от футуризма, а что от невоспитанности – поди пойми. Сначала Горький пригласил Маяковского к себе, слушал в его чтении «Облако в штанах» и, по воспоминаниям Маяковского, обплакал ему весь жилет. Потом надписал ему «Детство». Потом регулярно с ним виделся и хвалебно отзывался, выделяя его из когорты футуристов как единственного настоящего поэта. Но потом Корней Чуковский, с которым Маяковский успел рассориться годом ранее (по одной из версий – внаглую пытался соблазнить его жену, гостя у него в Куоккале), сообщил Горькому сплетню, будто Маяковский заразил гонореей Сонку Шамардину – девушку, с которой был близок в 1913 году. Откуда вообще пошла эта сплетня – неясно, никакой почвы она под собой не имела, и остается лишь дивиться тому, с какой готовностью Горький подхватил эту историю и принялся ее распространять. Видимо, недоброе чувство к Маяковскому зрело у него давно – чего уж там, поэт умел наживать врагов. Узнав о том, что сплетню тиражирует Горький, к нему отправилась Лиля Брик – защищать Володину честь. Горький принял ее и сообщил, что узнал всю историю от некоего одесского врача, может предоставить и адрес его, но конверт затерялся. Адреса он

никакого, конечно, не предоставил, пересказывать историю перестал, но с Маяковским рассорился надолго. Антипатия к поэту оставалась настолько прочной, что в 1923 году в одном из писем он утверждает: «Литература в России сейчас в руках таких авантюристов, как Пильняк и Маяковский». Кем-кем, но авантюристом Маяковский не был. Впрочем, они квиты, поскольку в 1926 году Маяковский обратился к Горькому со стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому», которое вполне можно расценить как политический донос, о чем мы в свой час расскажем. К сожалению, в безумное пред– и послереволюционное десятилетие добрые нравы русской литературы так же трещали по швам, как и вся русская этика вообще – и это по-своему логично.

5

Наиболее громкая полемика вокруг горьковского имени и взглядов развернулась после публикации статьи-манифеста «Две души». Некогда прежде бинарная система ценностей, которую обнаружил у Горького еще Чуковский, не являлась читателю в такой наглядности. Кстати, именно Чуковский заклеймил эту систему как безнадежно плоскую: все графится на левое и правое, темное и светлое, героическое и мещанское… В новой статье, опубликованной в декабрьской «Летописи» за 1915 год, Горький определил главную трагедию России как ее вечный внутренний раскол между Европой и Азией. У России две души: деятельная и бодрая – европейская, пассивная и темная – азиатская. В этой статье, как ни в каком другом его публицистическом выступлении, сказалась яркость его обобщений, поверхностная правда наблюдений – и грубость механистических объяснений. В том-то и парадокс России, что она – при всей своей двойственности – абсолютно целостна. Но многие горьковские наблюдения сохраняют актуальность и по сей день.

> *«Мы, как и жители Азии, люди красивого слова и неразумных деяний; мы отчаянно много говорим, но мало и плохо делаем. Про нас справедливо сказано, что „у русских множество суеверий, но нет идей“. На Западе люди творят историю, а мы все еще сочиняем скверные анекдоты.*
>
> *У нас, русских, две души: одна – от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя, убежденного в том, что против судьбы не пойдешь. А рядом с этой бессильной душою живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая, и мало способна к защите от ядов, отравляющих ее силы. Мы слишком долго, почти до половины XIX века, воспитывались на догматах, а не на фактах».*

Об этой статье Мережковский писал: «Если бы речь шла не о Горьком, можно бы сказать – вот как простодушно до детскости, до дикости. Стоит ли возражать? Нужно ли доказывать, что нельзя ставить знак равенства между суеверием, фантазией – и религиозным опытом. Такова философская неосведомленность Горького. Неосведомленность историческую высказывает он, когда противополагает религиозный Восток научному Западу, как две равнодействующие во всемирной истории. Все религии на

Востоке рождаются, но растут и зреют на Западе. И если христианство – религия всемирно-историческая, то не Восток, а Запад религиозен. „Две души“ написаны по поводу войны. Откуда же катастрофа – от религиозного Востока или от научного Запада? Кажется, ясно, что наука без религии, полунаука, не только не спасла мир от катастрофы, но, может быть, и была ее главною причиною. Каких нечеловеческих ужасов и мерзостей может наделать озлившийся и оглупевший разум, мы теперь видим воочию. Это он, Дедушка, маленький, хитрый, хищный хорек, бьет огромную Бабушку. О Бабушке Горький забыл. Может быть, не только у России, но и у самого Горького – две души, и он разрывается между ними – то к Востоку, то к Западу, то к бабушке, то к дедушке».

В самом деле, противопоставление Востока и Запада у Горького довольно искусственно, а война, которую он воспринял как катастрофу, как раз и есть следствие тупика, в котором оказался Запад со всей его бурной жизнедеятельностью и кипучей волей. Мережковский отвечает противопоставлением Дедушки и Бабушки из горьковского «Детства», но и эта дихотомия искусственна – потому что Дедушка бьет, а Бабушка терпит, и русский мир, в общем, стоит именно на этих двух началах, не исключающих, а дополняющих друг друга. Истина не в противопоставлении, а в синтезе, – но синтез, вообще говоря, не в горьковской природе. Его философия немыслима без противопоставлений.

Эта механистичность сильно ему повредила как писателю, на таком приеме большой книги не построишь – именно поэтому лучше всего удавались ему рассказы, основанные на одном, чаще всего физиологичном или страшном эпизоде. Здесь ему равных не было. Горький, пускающийся в философию, почти всегда поверхностен и примитивен, но эффектен – и «Две души» в самом деле произвели шум. (Сам Горький статью не любил, признавался в письме Брюсову, что чувствует и понимает много, выражает плоско.) Андреев, впрочем, давно уже говорил ему: «Тебе действительно присуще чувство уверенности в силе твоей, это и есть главный пункт твоего безумия и безумия всех подобных тебе идеализаторов разума, оторванных мечтой от жизни»; эту фразу Горький не побоялся процитировать в мемуарном очерке о друге. В том же очерке он вспоминает один из арзамасских эпизодов, более чем характерных: к Горькому, сосланному в Арзамас, приехал Андреев и застал гостя – местного священника отца Федора, тщетно пытающегося построить в Арзамасе водопровод. Весь город пьет тухлую воду из местных прудов, а водопровода, который брал бы воду из чистого ключевого источника, строить

не хотят: денег жалко. И вот священник заспорил с Андреевым, Горький слушал и встревал, спорили как раз о вере и неверии, мысли и воле, Востоке и Западе, – разошлись за полночь, но тут же к Горькому явился Андреев, а потом и босой, в ночной сорочке поп: им показалось, что они наговорили друг другу резкостей, и, извинившись, они тут же продолжили спор. Андреев хохотал, вспоминая фразу Белинского: «Вы хотите обедать, а мы еще не решили вопроса о бытии Божием!» И добавлял: «Вот так и Европа зовет нас обедать, а мы решаем вопрос о Боге». И конечно, ни на какую разумность, ни на какую деятельность не променял бы он этого вечного вопроса и вечного, за полночь, с самоваром, русского спора. Горькому же в середине десятых годов все это окончательно опротивело – он хочет другой, ясной, сознательной жизни, а интеллигентские споры больше не занимают его. В 1915–1917 годах он пишет едва ли не самый актуальный и живучий свой текст – «Русские сказки», самим острием своим направленный против интеллигенции.

6

Это вообще удивительный цикл – не зря первая невенчанная жена Горького, Каминская, уверяла его, что он рожден для сцены, для комического амплуа. Заметим, что Горький часто грешит натужным пафосом, многословием, что его повести – почти всегда цепочка хаотически нанизанных эпизодов, а его публицистика – жестяное громыханье, в котором человеческое слово – большая редкость; но вот где ему никогда не изменяют вкус, талант и изобретательность, так это в сатире. Сам Лев Толстой покатывался над его устными новеллами. Горьковская сатира жестока, в меру цинична (но здесь это как раз кстати), прицельно точна – почти все «Сказки» и сегодня бьют в яблочко. И главная мишень тут – не деспотизм, не тупость власти, не полицейский произвол и прочие русские пороки, а именно конформизм, слабость и трусость родной интеллигенции, в особенности из литераторского сословия. Шкловский говорил Лидии Гинзбург, что у всякого писателя в старости бывает период, когда хочется наконец написать правду обо всех; у Горького этот период настал в сорок семь лет. Впрочем, он и себя не пощадил – мы уже говорили о том, что в поэте-декаденте Закивакине-Смертяшкине узнается сам ранний Горький с «Девушкой и смертью», только пафос у него был другой, жизнеутверждающий, а стилистика очень похожа. И писатель, который не хотел умирать и вообще возражал против смерти, потому что «два романа не написаны», – тоже Горький с его бунтом против общей участи, и трудно не узнать его, хотя и высмеивает он в этой сказке (четвертой по счету) не только свое, но и общеписательское честолюбие. Особенно же хороша для нынешних времен пятая сказка, посвященная поискам своего национального лица – тогда огромная часть интеллигенции кинулась его отыскивать, потому что войну без национальной идеи не выиграешь. Многие ударились тогда в такое русофильство, в такой пещерный национализм, что космополитический пафос русской революции поневоле становится понятен; главное же – что «национальное лицо» пытались слепить не из принципов, правил и идей, а из голых данностей типа крови и почвы. Об этом Горький высказался чрезвычайно язвительно – его философствующий барин так приставал ко всем инородцам со своим национальным лицом, что лицо это после ряда бесед в значительной степени уширилось. «Теперь у вас, милостивый государь, такое лицо, что хоть брюки на него надеть».

Есть сказка против интеллигенции, которая воззваниями

борется с погромами. Есть сказка против толстовства. А есть сказка, которая, верно, должна была особенно понравиться Ленину, выдвинувшему тогда лозунг превращения империалистической войны в гражданскую. Эта сказка была особенно ненавистна тем, кто считал величайшим предательством в военное время хоть слово говорить против российского общественного строя, а таких было много. Опять трудно сказать, кто был прав, – поскольку мы знаем, чем все кончилось, – но одного у Горького не отнять: четырнадцатая сказка из прославленного цикла обладает редкой убедительностью. Там Ивашку все время зовут воевать – то против поляков, то против французов, то против немцев, – а начальство его только порет. Смущают его разные бесы – ты, спаситель России, за себя бы хоть раз постоял, – а он в ответ только в затылке чешет. Один раз захотел почесать – а головы-то у него и нету. Все.

Сказку эту Горький опубликовал в самом начале 1917 года. И, как всегда, попал в нерв: этот его призыв был услышан даже слишком быстро. Началась вторая русская революция, а Ивашка обратил наконец оружие против своих. Но странное дело – на фоне русской интеллигенции, поголовно завороженной и восхищенной Февралем, Горький выделяется скепсисом и бурчанием. Все-таки он знал Россию лучше, чем большинство современников.

7

Революции и иные катаклизмы, как правило, восторженно приветствуются людьми с внутренней трещинкой, с надломом: их собственная трагедия резонирует с мировой, а постоянное беспокойство наконец разрешается общественной бурей. В России – в силу довольно скотских условий ее жизни – таких людей, как правило, много. Но немногочисленные здоровые люди воспринимают революции так, как и следует: как серьезную опасность, крах миропорядка и угрозу для культуры. Отношение Горького к революции 1917 года показывает, что он в это время душевно гораздо здоровее и нормальнее, чем в 1905, когда он радовался московскому восстанию. Впрочем, есть и еще одна причина: Россия была другая. Революция 1905 года была результатом колоссального общественного подъема, а революция 1917-го, о чем обычно забывают, – следствием небывалого упадка. Революцию 1905 года делали революционеры – пропагандисты, пролетарии, интеллигенты. Революцию 1917 года в огромной степени делали обстоятельства – у нее не было своего движущего класса: Россия рухнула не в результате целенаправленных усилий кучки эмигрантов, называвших себя большевиками, а сама собой, ходом вещей. Революция пятого года была творческим усилием массы, – но то, что случилось в семнадцатом, строго говоря, никакой революцией не было вовсе. Не было и переворота. Было прогрессирующее безвластие, которое могло разрешиться либо узурпацией власти, либо захватом страны извне. В этих-то условиях и победили большевики – просто организовавшиеся первыми.

Сам Горький увидел в происходящем только бунт примитива, бунт инстинкта – и заклеймил его раньше других в «Несвоевременных мыслях».

> *«Ожидаю, что кто-нибудь из „реальных политиков“ воскликнет с пренебрежением:*
>
> *– Чего вы хотите? Это – социальная революция!*
>
> *Нет, – в этом взрыве зоологических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов социальной революции. Это русский бунт без социалистов по духу, без участия социалистической психологии.*
>
> *А иные рабочие говорят и пишут мне:*
>
> *– Вам бы, товарищ, радоваться, пролетариат победил!*
>
> *Радоваться мне нечему, пролетариат ничего и никого*

не победил. Как сам он не был побежден, когда полицейский режим держал его за глотку, так и теперь, когда он держит за глотку буржуазию, – буржуазия еще не побеждена. Идеи не побеждают приемами физического насилия. Победители обычно – великодушны, – может быть, по причине усталости, – пролетариат не великодушен».

Февраль мог вызывать восторг разве что у насквозь политизированной – и уже потому мелочно-недальновидной – интеллигенции вроде круга Зинаиды Гиппиус, либо у тех политзаключенных и ссыльных, кому он вернул свободу. Прочие отлично понимали, чем все кончится. В их числе был Горький – восторгов по поводу Февраля не испытавший и сердившийся, когда их при нем высказывали другие.

«В стране, щедро одаренной естественными богатствами и дарованиями, обнаружилась, как следствие ее духовной нищеты, полная анархия во всех областях культуры. Промышленность, техника – в зачаточном состоянии и вне прочной связи с наукой; наука – где-то на задворках, в темноте и под враждебным надзором чиновника; искусство, ограниченное, искаженное цензурой, оторвалось от общественности, погружено в поиски новых форм, утратив жизненное, волнующее и облагораживающее содержание. Всюду, внутри и вне человека, опустошение, расшатанность, хаос и следы какого-то длительного мамаева побоища.

И как бы горячо ни хотелось сказать слово доброго утешения, – правда суровой действительности не позволяет утешать, и нужно сказать со всею откровенностью: монархическая власть в своем стремлении духовно обезглавить Русь добилась почти полного успеха. Революция низвергла монархию, так! Но, может быть, это значит, что революция только вогнала накожную болезнь внутрь организма. Отнюдь не следует думать, что революция духовно излечила или обогатила Россию.

Этот народ должен много потрудиться для того, чтобы приобрести сознание своей личности, своего человеческого достоинства, этот народ должен быть прокален и очищен от рабства, вскормленного в нем, медленным огнем культуры.

Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели».

То, что давняя национальная болезнь оказалась загнана внутрь и победила впоследствии саму революцию, – угадано им совершенно точно. Но это понимал тогда, кажется, он один. Он и вообще был одинокий, трудный человек, потому так радовавшийся малейшему проявлению человечности, что на его собственную долю этих проявлений выпало мало. Отчасти в этом виновата его непрерывная, титаническая работа, отчасти – его любовь к абстрактному человечеству и раздражение по поводу конкретных людей. Политическая же его позиция в 1917 году настолько расходилась с другими точками зрения, что он не мог выбрать себе ни одной подходящей трибуны и вынужден был создать ее сам. Так появилась газета «Новая жизнь», первый номер которой вышел 1 мая 1917 года и об источниках финансирования которой сам Горький рассказывал так.

> *«"Новая Жизнь" организована мною, на деньги, взятые заимообразно у Э.К. Груббе, в количестве 275 тысяч, из которых 50 тысяч уже уплачены кредитору, остальную сумму я мог бы уплатить давно уже, если бы знал, где живет Э.К. Груббе.*
>
> *Кроме этих денег, в газету вложена часть гонорара, полученного мною с «Нивы» за издание моих книг. Все эти деньги переданы мною А.Н. Тихонову, фактическому издателю «Новой Жизни».*
>
> *В займе, сделанном мною на организацию газеты, я не вижу ничего позорящего ее и считаю обвинения ее в продажности – полемической подлостью.*
>
> *Но, к сведению вашему, я скажу, что за время с 901-го по 917-й год через мои руки прошли сотни тысяч рублей на дело российской социал-демократической партии, из них мой личный заработок исчисляется десятками тысяч, а все остальное черпалось из карманов «буржуазии». «Искра» издавалась на деньги Саввы Морозова, который, конечно, не в долг давал, а – жертвовал. Я мог бы назвать добрый десяток почтенных людей – «буржуев», – которые материально помогали росту с.-д. партии. Это прекрасно знает В.И. Ленин и другие старые работники партии.*
>
> *В деле «Новой Жизни» – «пожертвования» нет, а есть только мой заем. Ваши клеветнические и грязные выходки против «Новой Жизни» позорят не ее, а только вас».*

Груббе – известный банкир, владелец банка «Груббе и Небо». Оба – и Груббе, и Небо – эмигрировали еще до октябрьского переворота.

Так оправдываться Горькому пришлось потому, что уже в

октябре 1917 года его недавние друзья, большевики, принялись упрекать его, что он играет на руку врагам рабочего класса и делает это явно небескорыстно. Впрочем, в его жизни таких «полемических подлостей» было более чем достаточно, он, кажется, уж и реагировать на них перестал – но тут не мог не укусить в ответ: сами-то вы на чьи деньги издавали вашу «Искру»?

В «Новой жизни» Горький стал, современно говоря, колумнистом. Из этих колонок он составил потом две книги – «Несвоевременные мысли» и «Революция и культура». В заметках весны и лета 1917 года он поздравляет русский народ с новообретенной свободой, но тут же ставит вопрос: готовы ли мы к ней? Почти вся его предоктябрьская публицистика – призыв к занятиям наукой и творчеством, к сохранению культуры и преодолению невежества; читать все это в разгар двоевластия было, кажется, довольно странно. Особенно же его настораживает начавшаяся в стране люстрация и публикация списков тайных сотрудников охранного отделения: их оказалось неожиданно, необъяснимо много. «Это позорный обвинительный акт против нас, это один из признаков распада и гниения страны, признак грозный», – писал он.

Почти сразу же в «Несвоевременных мыслях» появилась крестьянская тема – Горький недружелюбно и подозрительно воспринимал крестьянство еще с босяцких времен, с первых печатных выступлений, видя в крестьянине только собственника, да вдобавок звероватого. Теперь к его услугам все новые факты бессмысленных зверств, и «Новая жизнь» неустанно их протоколирует.

> *«Вот недавно разграблены мужиками имения Худекова, Оболенского и целый ряд других имений. Мужики развезли по домам все, что имело ценность в их глазах, а библиотеки – сожгли, рояли изрубили топорами, картины – изорвали. Предметы науки, искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни – можно сомневаться, имеют ли они цену в глазах городской массы».*

Даже тот, кто терпеть не может Горького, должен признать, что основная черта его тогдашней публицистики – благородство. Он вступается за низложенных Романовых, над которыми гогочет пьяная толпа, вчера еще перед ними раболепствовавшая; он замечает также, что глумливый пасквиль о Романовых подписан еврейской фамилией – и тут же предрекает, что вину за мерзости русской революции обязательно перевалят на евреев, благо они

делают для этого все возможное, демонстрируя поразительную бестактность и цинизм.

«Я считаю нужным, – по условиям времени, – указать, что нигде не требуется столько такта и морального чутья, как в отношении русского к еврею и еврея к явлениям русской жизни.

Отнюдь не значит, что на Руси есть факты, которых не должен критически касаться татарин или еврей, но – обязательно помнить, что даже невольная ошибка, – не говоря уже о сознательной гадости, хотя бы она была сделана из искреннего желания угодить инстинктам улицы, – может быть истолкована во вред не только одному злому или глупому еврею, но – всему еврейству».

8

Публицистика Горького – уникальная хроника перерождения революции. Идеалы, знамена, лозунги, под которыми боролись против самодержавия, – оказались попраны и забыты, как только рухнуло самодержавие. Нельзя сказать, что Горький мечтает о реставрации романовской России, – он все слишком хорошо помнил. Но то, что делается вокруг, заставляет его весьма критично отнестись к социал-демократам, которым он помогал деньгами и словом двадцать лет.

Позднее сформировалась легенда о том, что именно в «Новой жизни» Каменев и Зиновьев выдали Временному правительству планы вооруженного восстания, назначенного по требованию Ленина на 25 октября. Это не так, и никакой публикации Каменева и Зиновьева в горьковской газете не было. Напротив, оба они – в особенности будущий хозяин Петрограда Зиновьев – относились к Горькому не лучшим образом, по крайней мере в 1917 году. «Новая жизнь» узнала о закрытом письме, которое Каменев и Зиновьев разослали в партийные комитеты, протестуя против авантюристического, как им казалось, ленинского плана захватить власть. Возможно, именно эту публикацию Зиновьев впоследствии не мог простить Горькому – у Ленина она вызвала бешенство, хотя о позиции Зиновьева он был отлично осведомлен. В фильме 1938 года «Ленин в Октябре» – к этой роммовской дилогии мы вернемся – Ленин возмущается предательством Каменева и Зиновьева так громко, как будто дело происходит непосредственно во время сталинских процессов. Но до сталинских процессов оставалось 20 лет, и Каменев с Зиновьевым были прощены. Более того – в кулуарах второго Всероссийского съезда советов, происходившего в Смольном, Каменев будто бы сказал: «Сделали глупость, взяли власть – теперь надо формировать кабинет». Так что никакого предательства не было, было несогласие, о котором горьковская газета доложила – вероятно, в надежде предотвратить кровопролитие. Но переворот 25 октября был и так почти бескровным – кровь полилась позже, с красного террора, с Гражданской войны. Одной из первых жертв этого террора стала свободная пресса – «Новая жизнь» была закрыта 29 июля 1918 года, а «Несвоевременные мысли» не печатались в России семьдесят лет. Но сегодня это одно из тех сочинений Горького, которые спасают его репутацию и обеспечивают бессмертие.

К другим его благим деяниям принадлежит открытие Дома искусств и Центральной комиссии по улучшению быта ученых:

Дом искусств, или ДИСК, открылся 19 ноября 1919 года, а ЦЕКУБУ возникла в 1920-м под председательством бакинца Артемия Халатова. Тогдашний Петроград медленно разрушался, на Невском выросла трава меж торцов, здания осыпались и ветшали, из всех ремесел процветала одна спекуляция – в такие времена людям свойственно сбиваться в кучки, выживать группками; собирались эти группки, как водится, по профессиональному признаку. Горький задумал создать нечто вроде писательского профсоюза – организацию, где можно было бы получить ссуду или просто стакан чаю, встретиться с коллегами, почитать, в случае чего перекантоваться неделю-другую, если дома совсем нет дров или выбиты все стекла… Под Дом искусств выделили прославленный, огромный дом Елисеева на Мойке, 29: дом этот один занимает целый квартал, выходя одним фасадом на Мойку, а другим на Морскую.

Очень скоро там образовалась своеобразная литераторская коммуна: если кто и жил дома, как Чуковский, то дневал и часто ночевал здесь. А Гумилев, Ходасевич, Грин, Пяст, Мандельштам, Шкловский, «Серапионы» – так здесь и жили, здесь заседала гумилевская поэтическая студия «Звучащая раковина», здесь проводили чтения, доклады, получали пайки и дрова, здесь с пушкинской лекцией в 1921 году выступал Блок, здесь читал воспоминания о Толстом сам Горький. Дом искусств воспет во множестве стихов и подробно описан десятками мемуаристов – наиболее известен ностальгический роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль». Как ни странно, литераторы, в обычные времена мало склонные к дружбе и взаимопониманию, в минуты кризиса обладают поразительным даром взаимопомощи: в ДИСКе мирно уживались, общались и питались непримиримо враждовавшие прежде акмеисты, символисты, реалисты… ЦЕКУБУ занималась главным образом распределением пайков: то, что петроградская наука пережила эпоху военного коммунизма, – исключительная заслуга этой организации.

Из молодых Горький в это время поддерживает главным образом литературную группу «Серапионовы братья» – она серьезно стремилась к тому, чтобы занять доминирующие позиции на литературном фронте, и много делала для этого. Письма «Серапионов» к Горькому дышат откровенным подхалимажем, и все же в выборе покровителя сказалась некая глубинная общность их установок. «Серапионы» – сблизившиеся в Петрограде в 1918 году студийцы Корнея Чуковского, обучавшиеся в его студии в доме Мурузи переводам и литературной критике. Дом Мурузи на Литейном, 24 был тогда местом сбора литературной молодежи, которую Горький пытался

– и небезуспешно – приспособить в будущем к работе во «Всемирной литературе», академическом издательстве, призванном ревизовать духовное наследие всех прошлых веков и дать пролетариям в новых переводах его лучшие образцы.

В дом Мурузи потянулись пишущие молодые люди – больше в Петрограде и делать было нечего, талантливых сочинителей насчитывались сотни, в массе своей это были дети Серебряного века, воспитанные на русском декадансе и пытавшиеся осмыслить опыт революции, пережитый ими на границе отрочества и юности. Именно из этой молодежи выросли потом обэриуты, в этих кружках блистали Нина Берберова, Николай Чуковский, Всеволод Рождественский, Геннадий Гор, Владимир Познер (отец телеведущего) – словом, будущие звезды как питерской, так и эмигрантской словесности. Здесь, на лекциях Чуковского, познакомились Константин Федин, Михаил Зощенко, Лев Лунц, Всеволод Иванов, Мария Алонкина, Елизавета Полонская, Николай Тихонов, Вениамин Каверин и Михаил Слонимский (в разное время в группу входило еще несколько человек, но они не составляли костяка). В честь гофмановского романа назвались «Серапионовыми братьями». Правду сказать, тогдашний Питер действительно был городом ожившей гофманианы, и повальное увлечение фантастикой было вполне оправдано. Город-призрак, по которому бродят тени бывших людей, запечатлен в ранней серапионовской прозе. У Федина, Иванова и Зощенко был за плечами опыт империалистической, а потом и Гражданской войны, но признанным лидером сообщества был молодой, ярко одаренный Лев Лунц – автор философских пьес и сатирических гротесков в прозе. Именно Лунц провозгласил главный девиз «Серапионов» – «На Запад!».

В этом смысле они были явно близки Горькому с его проевропейской ориентацией, с установкой на активность, деловитость и энергию. Лунц призывал учиться у Запада – прежде всего осваивать сильную, динамичную фабулу, преодолеть вечную аморфность русской прозы, научиться держать читателя в напряжении. Сохранилось письмо Лунца к Горькому – там он сетует на то, что чувствует себя чужаком в русской прозе, и на полном серьезе спрашивает, можно ли ему заниматься литературой в России, коль скоро он еврей и отказываться от своего еврейства не собирается. Горький отнесся к его письму столь же серьезно и благословил на писательство.

«В период величайших регламентаций, регистраций и казарменного упорядочения, когда всем был дан один железный и скучный устав, – мы решили собираться без уставов и председателей, без выборов и голосований», – писал Лунц в

статье «Почему мы „Серапионовы братья“»: пожалуй, среди таких потрясений писателю трудно было выживать в одиночку. Групп вообще было много, но самой устойчивой и талантливой оказалась эта. Лунц умер от ревмокардита в Берлине, в 1924 году. Зощенко вырос в популярнейшего советского сатирика, подвергся сталинскому разносу и травле, дожил до половинчатой реабилитации. Федин сделался литературным сановником. Каверин превратился в первоклассного, хотя и несколько подросткового писателя.

Все они с наибольшей нежностью вспоминали один и тот же период своей жизни – время интенсивного общения с Горьким. Всеволод Иванов все не мог забыть, как Горький хотел справить ему сапоги, и в результате вместо одной пары сапог добыл четыре. Горький и вообще любил заботиться о литературной молодежи – опекать, подсказывать; едва ли эта забота была для него только источником дополнительного самоуважения – скорей тут была память о начале собственного пути, о том, как трудно давались ему первые публикации, и он всю жизнь старался максимально облегчить молодым путь к профессиональному становлению.

Символична ставка все на тот же Запад – на рационализм, культуру и энергию. Впрочем, у Всеволода Иванова – русейшего из русских – ничего такого не было, однако в серапионовском братстве он смотрелся вполне органично, поскольку всю компанию объединяли не столько формальные установки, сколько истовое отношение к профессии. Они приветствовали друг друга фразой: «Здравствуй, брат, писать трудно». Горький имеет к ней прямое отношение: Федин в одном из писем признался, что это главный урок, вынесенный им из собственного литературного опыта, и Горький восторженно подхватил: да, да, хорошо писать – трудно! С его одобрения фраза и стала паролем. Горький, конечно, на заседания не ходил и группой не руководил – «Серапионов» обучали и влияли на них главным образом Чуковский, Евгений Замятин и Виктор Шкловский, – но именно он способствовал выходу их единственного альманаха и со всеми участниками группы был в переписке. «Серапионы» воплощали его мечту о творческой дружбе – идиллию вроде той, что он пытался сформировать в «Знании».

9

Интересно, что тянется он в это время все больше к интеллигенции, а пролетарских писателей не жалует и литературным их обучением не занимается. Литература, посвященная зловещим гримасам революции, его устраивает вполне, – но ни «Мистерия-буфф» Маяковского, ни революционная лирика Есенина, ни проза Артема Веселого, Пильняка или южан (Олеши, Катаева, Бабеля) в двадцатые годы его внимания не привлекали. Как не заметил, не почувствовал Горький фантастического духовного подъема, вызванного Октябрем? Как прошла мимо него революционная романтика, как не увлек пафос переустройства земного шара? Первый напрашивающийся ответ – что это все идеи модернистские, а Горький ведь традиционный реалист, постоянно настаивающий на собственном эстетическом консерватизме. В очерке об Андрееве он буквально признается – не мог всерьез воспринимать Блока, Белого, Брюсова, числил их вне настоящей литературы… Но традиционализм Горького весьма условен, все сложней, просто его новаторство не так очевидно, как, допустим, у Белого. Тут примерно как с его манерой чтения, которая поначалу казалась монотонной, но потом, по воспоминаниям всех его слушателей, поражала напряженностью, точностью интонирования, проникновением в характеры. Горький пришел в литературу именно как новатор – не просто как первый изобразитель жизни низов (этого и до него хватало), но как мастер энергичного, яркого повествования, лаконичного портрета, резкого и хлесткого диалога; форма его ранних миниатюр строго продумана – не зря он почти два года писал исключительно в стол.

В «Жизни Матвея Кожемякина» или «Жизни смешного человека» (эта повесть о провокаторе полностью была опубликована только в 1917 году, хотя закончена еще до «Исповеди») тонко обыгрываются лейтмотивы – они ритмически организуют повествование, скрепляют его, позволяя без ярко выраженной фабулы удерживать читательский интерес (потом, в «Жизни Клима Самгина», составляющей как бы третью часть этой нравоописательной трилогии, этот прием будет доведен почти до абсурда). Горький – отнюдь не ретроград в эстетике, дай бог каждому модернисту такой решимости в разрушении канона: взять хоть «Исповедь» с ее отважной философией и столь же дерзкой попыткой вернуть в русскую прозу живой фольклорный сказ. «Серебряный голубь» Белого, написанный на сходном –

сектантском – материале, на фоне «Исповеди» поражает вымученностью, надуманностью, при всей изощренности своего построения. Конечно, Горькому чужды были восторги Маяковского, его атаки на классику, его азарт чисто литературной борьбы – он вообще не любил ниспровергателей в культуре, ценил их только в политике; но почему-то ранний Маяковский, «непонятный», экспрессионистский, избыточный – был ему внятен, а вот зрелый не вызывал ничего, кроме раздражения.

Можно вспомнить классическую фразу, приписываемую Черчиллю, – мол, кто не был в юности радикалом – подлец, а кто в старости не стал консерватором – дурак; но консерватором Горький никак не стал – консервировать, по сути, было нечего, обреченность старой России он прекрасно понимал. Дело было в том, что он – пожалуй, единственный из всех, – увидел не чрезмерность, а недостаточность преобразований; главное же – он понял, что это подмена. Революция раскрепостила все дикое и отвратительное, губя все тонкое, драгоценное, единственно важное. И Горький кинулся это драгоценное сохранять – ибо только в нем видел смысл искусства.

Он жил в это время на Кронверкском, 23 – в знаменитом доме, где собиралась впоследствии «Всемирная литература», созданная им редакция, спасавшая жизнь петроградским писателям. Многие ставили ему в вину роскошь этого жилища – он в самом деле неустанно собирал предметы искусства, коллекционировал огромные китайские вазы, отлично разбирался в них, но и это коллекционирование было не способом вложения денег, а данью собственной идеологии. Горький как истинный разночинец ценил культуру не только в духовных, но и в материальных ее проявлениях; обожествлял книгу – не только как текст, но и как чудо полиграфического искусства; любил тонкую работу, затейливость мастерства, изысканность. Все это не отменяет того факта, что любил он и деньги – по крайней мере знал им цену. Борис Зайцев замечал, что одно это – богатство, оборотистость – превращает Горького в писателя другой, не русской традиции; это бред, конечно. Во-первых, не бедствовали ни Лермонтов, ни Толстой, оборотистостью был известен Некрасов, превосходным импресарио при себе самом был Островский, да и вообще делать из бедности добродетель – невыносимо дурной тон. Во-вторых, мало кто распоряжался своими деньгами столь альтруистически, широко и щедро, как Горький: содержа три десятка чад и домочадцев, он неизменно финансировал собственные издательские проекты и высылал по первому требованию – а то и без всякого требования –

вспомоществования литераторам, ссыльным, провинциальным учителям… Он считал себя не собственником, а перераспределителем этих средств, финансируя тех, о ком государство не помнило и помнить не желало. Революция отбирала у него не роскошь, не деньги – она посягала на материальную культуру как таковую: какой был резон жечь усадьбы, кого это обогащало? Азарт переустройства не захватывал его уже потому, что это не был азарт строительства – всего лишь оргиастический, довольно низкопробный восторг разрушения, а цену ему он знал, ибо нередко наблюдал погромы и расправы. Эту садическую составляющую русской революции он почувствовал раньше многих. Любопытно, что в прозе он обратился к Гражданской войне всего единожды – в «Рассказе о необыкновенном», составляющем зерно его книги «Рассказы 1922–1924 годов». В этой книге прослеживается единый сюжет, есть сквозные персонажи – например, добрый проповедник из рассказа «Отшельник»; именно его – ни за что ни про что – убивает главный герой и повествователь из «Рассказа о необыкновенном». Этого человека больше всего раздражает в мире все необыкновенное, необъяснимое – все, что выше его разумения; его главная задача – упростить мир, рационализировать его, чтобы он стал доступен его примитивному пониманию. Революция и Гражданская война предстают в рассказе именно такой вакханалией всеобщего упрощения и уплощения. И не зря тяжело раненный доктор говорит герою, зная, что тот собирается его добить: «Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня». Упростить – и значит убить, в горьковской терминологии. И вместо того чтобы видеть в революции необыкновенное и небывалое, Горький обнаруживает только самое обыденное и примитивное, самое скучное: зверство. Он хорошо знает его в лицо – и потому не обольщается.

10

С 1918 года он играет в Петрограде роль странную: с одной стороны, у него закрыли газету (последний номер вышел 29 июля), он пользуется стойкой неприязнью Зиновьева – официального хозяина города, а написанного в «Несвоевременных мыслях» хватило бы как минимум для высылки. С другой стороны – он друг Ленина, о чем всем известно; автор революционных прокламаций, гимнов свободе, пламенно обличал деспотизм и мещанство, прозван Буревестником, бывал под арестом, в ссылке, семь лет провел в эмиграции… Революционный классик, гость большевистских съездов, самая популярная и, вероятно, самая крупная фигура в русской литературе, с чьей популярностью не могли соперничать ни символисты, ни сатириконцы, ни футуристы-эстрадники… Европейская знаменитость, друг Уэллса, Шоу, Барбюса… Большевики его не трогали, зная о личной ленинской симпатии к нему (была, безусловно, и симпатия – не только корысть). Коллеги-литераторы опасались впрямую травить, поскольку в случае преследований или голода вся надежда была на Горького. Он один имел ход «на самый верх», подавал бесчисленные прошения, хлопотал, выпрашивал, выбивал. После закрытия «Новой жизни», в которой он неутомимо и целенаправленно поливал большевиков, его тактика изменилась. Главный переворот произошел, вероятно, летом восемнадцатого – когда Горький понял, что от конфронтации проку нет, а в качестве своеобразного посредника между культурой и властью он может многих выручить. С этого момента возобновляется его переписка с Лениным. Вдобавок он ищет формы легального заработка: петроградская интеллигенция вымирает от голода и холода, а что делать для прокорма – не знает. Все ее занятия упразднены. Горький нашел гениальный выход – основал издательство для пролетариев, вроде толстовского «Посредника», но сильней. Он задумал дать пролетариям (больше заботясь, конечно, об авторах, а не о читателях) свод всего лучшего, что было в мировой словесности, начиная с древнейших шумерских текстов. Для такого издания требовались переводчики, редакторы и большой технический персонал. Новая власть покряхтела, но денег дала: Горький, редактирующий библиотеку всемирной прозы, все-таки не так опасен, как Горький, пишущий фельетоны в собственную газету. Так возникла «Всемирная» – самое амбициозное и абсурдное его начинание; но более 200 томов, успевших выйти, остаются эталоном перевода, комментария и интерпретации.

О работе «Всемирной литературы» тоже сохранилось множество мемуаров – очень уж гротескное было предприятие. Главным организатором выступал Александр Тихонов, известный также под псевдонимом Серебров, – горный инженер, писатель, начавший работать с Горьким еще в 1915 году, когда он задумывал сборник рассказов пролетарских писателей. Тихонов пописывал и сам, его мемуары в советское время многократно переиздавались, но главным его талантом был организаторский, издательский. Сколько бы сетований на него ни сохранилось в дневниках современников – платил неаккуратно, задерживал выпуск книг, – чудом было уже то, что в условиях жесточайшего бумажного дефицита, о котором Горький беспрерывно писал Ленину, Тихонов наладил в Питере книгоиздательство и поддерживал «Всемирку» на плаву, выпуская отдельные тома громадными по тем временам двух-трехтысячными тиражами. Редколлегия собиралась у Горького на Кронверкском. Под жидкий чай без сахару ожесточенно спорили: следует ли включать библейские сказания или это священный текст? Но чем же библейские сказания хуже шумерских? Надо ли включать Карлайла – или Карлайл не нужен? Горький этого периода особенно подробно описан в воспоминаниях Чуковского, который, как мы помним, относился к нему скептически, ценил только зрелые его вещи, начиная с «Окурова», да и то за бытописательство. Первые впечатления Чуковского от знакомства с Горьким были странные, большей частью негативные: они встретились в 1915 году в Куоккале, у Репина, вскоре после горьковского возвращения, – Горький был немногословен, показушничал, отрывисто повторял многозначительные фразы вроде того, что футуристам надо читать Библию… Теперешний Горький – времен «Всемирки» – изображен в совершенно ином свете, с любовью, восторгом, благодарностью, хоть и не без иронии. Впрочем, кто из тогдашних литераторов относился к дореволюционному Горькому без ревности или сомнений в его искренности? Но после революции почти все, включая и столь непримиримых врагов большевизма, как Мережковский и Гиппиус, нет-нет да и благодарили Горького за содействие: он вытащил из ЧК не меньше сотни схваченных без суда интеллигентов, а тем, кого не коснулись репрессии, неустанно выхлопатывал то пайки, то заказы на переводы, и оттого весь коллектив «Всемирной литературы» – редсовет, переводчики, корректоры – смотрел на него с благоговением. Да и в самом Горьком в это время стало меньше рисовки, хотя вполне он от нее не избавлялся никогда – это была старая босяцкая самозащита. Во «Всемирной» он чувствовал себя на плоту среди бушующего

океана, среди единомышленников, к которым относился без тени покровительства, братски. Пожалуй, никогда русские литераторы так не любили Горького, как в эти годы: многие предубеждения рассеялись, а начальником он оказался идеальным. Чуковский с нежностью вспоминает, как Горький во время особенно скучных докладов начинал делать из яростно разорванной газеты кораблики с папиросными окурками вместо мачт, – один такой кораблик вклеен в «Чукоккалу»: всем ясно было, что раз дошло до папиросной флотилии – надо закругляться. После заседаний Горький часами рассказывал случаи из своей жизни, демонстрируя не только актерский талант, но и фантастическую – лошадиную, по выражению деда, – свою память, начетническую, полную имен и цитат. Он поражал Федина, Иванова, Замятина разнообразием и точностью сведений. Откуда он их черпал и как запоминал – загадка. Именно во «Всемирной» отметил он пятидесятилетие – убавив себе год, отпраздновал его 16 марта 1919 года. День, по выражению Блока, был «не простой, а музыкальный». В этот день к нему ненадолго вернулось музыкальное мироощущение – в прочие дни, по собственному его свидетельству, «все звуки прекратились».

Самое удивительное в это время – сближение Горького с Блоком. Известны его крайне скептические отзывы – в письмах – о «Сусальном ангеле», о блоковских статьях, но революция вообще все перемешала, свела былых противников, развела друзей, стерла искусственные разделения и выявила скрытые. Литераторы оказались в одной утлой лодке и присмотрелись друг к другу без ревности и вражды, отлично сознавая всю уникальность и неуместность своего ремесла в бушующем мире. Горький мог любить или не любить Блока, но не мог не видеть его абсолютной прямоты и вошедшей в легенду честности. Его статью «Интеллигенция и революция» – о том, как глупо подкладывать щепки в революционный костер, а потом бояться огня, – Горький воспринял как обращенную лично к нему. Возможно, Блок не имел в виду конкретного адресата, говоря об интеллигенции в целом, но правота его была и так наглядна: звали-звали, накликали-накликали – да и испугались?! Горький в ответ доказывал: звали, да не то. И Блок соглашался: «Но не эти дни мы звали, а грядущие века». Однако позиции их радикально различаются: Блок приветствует гибель культуры, Горький пытается спасти оставшееся. В этом главная разница между «Разрушением личности» и «Крушением гуманизма»: Горький в «Разрушении» радостно провидел крах индивидуализма – Блок в «Крушении» скорбно приветствовал крах личности, понимая, что в мире массовой культуры ему как личности делать уже нечего. И

понимал он это задолго до Горького, искренне верившего в 1907 году, что массы несут с собой новую мораль и писавшего:

> *«Русский индивидуализм, развиваясь, принимает болезненный характер, влечет за собою резкое понижение социально-этических запросов личности и сопровождается общим упадком боевых сил интеллекта».*

Все так, все так. И Блок сознавал обреченность этого индивидуализма – вспомнить хоть его статью «Ирония». Он допускал даже, что вслед за гуманизмом настанет нечто новое, исключительное… Просто он понимал, что в этом новом мире ему и таким, как он, не будет места. А если гибнуть – так уж скорее. В этом они с Горьким не совпадали. Горький искренне пытался спасти оставшееся.

Интересно, впрочем, что спорили они и о бессмертии. Горький подробно записал один из этих разговоров. Сам он излагает там собственную концепцию – если вдуматься, очень для него естественную и опровергающую разговоры о том, что он-де любил в культуре только внешнюю ее составляющую, только вещи, шедевры, ценности… Он мечтает, как признается Блоку, о полном переходе всей материи в психическую, об исчезновении физического труда, о царстве мысли – как ни странно, его утопия оказывается немного похожа на «Летающий пролетарий» Маяковского, где все прекрасное будущее осуществляется в стерильном пространстве, а чистые интеллектуальные пролетарии усилием мысли производят продукт. Блок же признается, что в бессмертие уже не верит: мы слишком умны, чтобы верить, но еще недостаточно сильны, чтобы вовсе обходиться без веры. Горький в ответ уверяет, что если число атомов во Вселенной конечно – вполне возможно «вечное возвращение», почерпнутое им, конечно, из Ницше: все опять может сложиться так, что Горький и Блок опять будут беседовать в Летнем саду хмурым вечером петербургской весны… Но и этот ад бесконечных повторений не устраивает Блока. Ему хочется чего-то нового, «равно не похожего на строительство и разрушение»: революция этим на секунду поманила – но низверглась в тот же ад, только с более низкими потолками. И зачем спасать в этом аду остатки прежней культуры – он не понимает: не зря его участие во «Всемирной литературе» сводилось к сочинению экспромтов в альбом Чуковского и вялой подготовке однотомника Гейне. Горький задумал еще один безумный, хоть и эффектный проект – изобразить пролетариям всю мировую историю в кратких драматических картинах; Блок написал драму «Рамзес» из древнеегипетской жизни – последнее

свое художественное произведение. Там посреди страшного, безвоздушного Египта, полного голодных рабов и лживых начальников, ходит одинокий пророк, предрекая всем гибель от своего таинственного, неведомого Египту Господа, а на горизонте стоит огромный Сириус. Странная пьеса, хорошая, по колориту немного похожая на уайльдовскую «Саломею».

11

Петроград 1918–1921 годов, по словам Евгения Замятина, напоминал огромный, несущийся в ледяной пустоте снаряд. «Смешные в снаряде затеи», – с ностальгической нежностью вспоминал Замятин «Всемирную литературу». Но смешные или не смешные, а прожить самые страшные годы они помогли. В 1924 году, уже после отъезда Горького, издательство закрылось. Впоследствии он все-таки возобновил этот проект, основав издательство «Academia» – уже в тридцатые. К счастью, тогда идея сохранения культуры была уже актуальнее для власти – настало время консервации.

Любопытно, что именно в это время Горькому посчастливилось встретить главную любовь своей жизни. Конечно, того места, какое занимала в его биографии Андреева, Мария Игнатьевна Закревская-Будберг занять не успела – им суждено было прожить вместе всего десять лет да потом изредка встречаться во время ее наездов в СССР, – но «Жизнь Клима Самгина», главное свое сочинение, Горький посвятил именно ей, да и на рабочем своем столе держал слепок именно ее руки – «идеально изящной и далеко не всегда чистой», как писал другой ее великий любовник, Герберт Уэллс. Баронессу Бенкендорф-Будберг сам Горький прозвал «железной женщиной», и не без оснований. Она была младше его на 23 года, родилась за год до того, как он впервые напечатался, а пережила его на 38 лет, скончавшись в Англии в 1974 году. Жизнь ее вместила очень многое – Мария Закревская незадолго до Первой мировой войны приезжала в Лондон к брату Платону Закревскому, служившему там в русской миссии, и перезнакомилась с множеством британских литераторов, дипломатов и светских персонажей. Она встретилась с писателем Гербертом Уэллсом и русским аристократом Иваном Бенкендорфом – кстати, начальником ее брата; Бенкендорф в нее немедленно влюбился, она вышла за него замуж, а Уэллсу суждено было стать ее третьим мужем. Вот как он описывал ее внешность в 1920 году, когда посетил Россию и возобновил давнее знакомство:

«В моем убеждении, что Мура неимоверно обаятельна, нет и намека на самообман. Однако трудно определить, какие свойства составляют ее особенность. Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски, пьет много водки, и у нее грубоватый, глухой голос, вероятно оттого, что она заядлая курильщица. Обычно в руках у нее видавшая виды сумка, которая

редко застегнута как положено. Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных. Мне думается, людей прежде всего очаровывает вальяжность, изящная посадка головы и спокойная уверенность осанки. Ее волосы особенно красивы над высоким лбом и широкой нерукотворной волной спускаются на затылок. Карие глаза смотрят твердо и спокойно, татарские скулы придают лицу выражение дружественной безмятежности, и сама небрежность ее платья подчеркивает силу, дородность и статность фигуры. Любое декольте обнаруживает свежую и чистую кожу. В каких бы обстоятельствах Мура ни оказывалась, она никогда не теряла самообладания».

Насчет самообладания все верно: она была иронична, невероятно жизнеустойчива и восстанавливала силы весьма быстро, иногда с помощью той же водки. Эта женщина с двумя немецкими фамилиями (в первом браке Бенкендорф, во втором Будберг) была классической, идеальной русской, хоть Нина Берберова и замечает в своей книге о ней («Железная женщина»), что мужское чувство ответственности и мужчинам-то здесь редко свойственно, а ей оно было присуще весьма. В 1912 году она вышла замуж за Бенкендорфа, в 1913 году родила сына Павла, в 1915 – дочь Таню, обоих детей выкормила сама, живя все это время в эстляндских поместьях мужа. В семнадцатом, оставив под Ревелем мужа и детей, она поехала в Петроград – разузнать, каковы перспективы устроиться там: в двух шагах от Ревеля стояли немцы, а оказаться под немцами ей не хотелось. Почти сразу после ее отъезда мужики подожгли усадьбу Бенкендорфов и убили ее мужа – дети чудом бежали с гувернанткой Мисси и укрылись у соседей. Петроградскую квартиру Бенкендорфов уплотнили, впоследствии туда въехал Комбед – комитет бедноты, – и Марии пришлось съехать. Жила она в это время у старого повара своего отца, а за поддержкой и пропитанием ходила в английское посольство – там ее многие помнили, там были друзья, там началась ее любовная связь с Брюсом Локкартом, присланным в Россию в качестве британского агента, чтобы препятствовать сепаратному миру с Германией. Брестский мир, однако, был заключен – воспрепятствовать выходу России из войны не смогли ни Локкарт, ни сам Сомерсет Моэм. Зато Локкарту повезло в другом: с Мурой, по его воспоминаниям, в его жизнь вошло что-то огромное, большее, чем он мог понять и объяснить. Когда его выслали из России – из Москвы, в которую он переехал вместе с консульством, – Мура (так он прозвал Марию) продолжала получать от него почти ежедневные письма. И, как полагают некоторые, – инструкции.

О том, кто, как и когда завербовал Марию Закревскую-Бенкендорф, пишут много, и правду узнают вряд ли. По одной версии, ее завербовал Локкарт, по другой – ЧК, когда их вместе с Локкартом арестовали в Москве в 1919 году, а по третьей – она была двойным агентом. Можно, впрочем, допустить, что она никаким агентом не была вовсе. Ей надо было выживать, она вернулась в Петроград и обратилась к Корнею Чуковскому, с которым была знакома еще по его визиту в Англию 1915 года – тогда он вместе с отцом писателя Владимира Набокова, известным кадетом, ездил агитировать англичан за всемерную поддержку России в Первой мировой войне. К Чуковскому она и обратилась сейчас, и он, зная о ее разговорном английском (проникавшем даже и в русский – ее речь была полна англицизмов и отличалась прелестным акцентом), познакомил ее с Горьким и с прочими сотрудниками «Всемирки». Закревская-Бенкендорф тут же получила работу, но главное – Горький нашел в ней свой идеал.

Скажем тут, пожалуй, несколько слов о природе горьковской сексуальности: существует версия, согласно которой туберкулезные больные обладают обостренной, болезненной чувственностью, повышенной сексуальностью – вследствие особенностей внутренней интоксикации при чахотке. Многие, правда, ставят под вопрос горьковскую чахотку – слишком выносли в и трудоспособен он был почти до самой смерти, может, дело было в хроническом бронхите, – но уж повышенную сексуальность не ставит под вопрос никто. Ранние его вещи целомудренны, зато уж в поздних он перестает стесняться чего бы то ни было – даже Бунину далеко до горьковского эротизма, хотя у Горького он никак не эстетизирован, секс описывается цинично, грубо, часто с отвращением. На Капри рассказывают, что Горький в отелях не пропускал ни одной горничной. Отношения с Андреевой в 1919 году были уже прохладными. Андреева по личному ленинскому назначению уже была тогда комиссаром петроградских театров – она оказалась гораздо благонадежней гражданского мужа. Нина Берберова утверждает, что у нее был в то время роман с собственным секретарем Петром Крючковым, который впоследствии стал литературным секретарем самого Горького и был репрессирован после его смерти, как и почти все горьковское окружение. Мы мало знаем о горьковских любовницах, он хорошо конспирировался (та же Берберова приписывает ему связь с женой Александра Тихонова Варварой, чья дочь Нина действительно поражала сходством с Горьким), – но связи его были многочисленны, а темперамент силен. Будберг обладала не столько красотой, сколько естественностью и

невероятной сексуальной притягательностью – по воспоминаниям Чуковского, Горький немедленно распустил перед ней хвост и говорил хоть и не с ней, но исключительно для нее. Да что Горький – Блок, чей вкус был куда более избирателен, посвятил Марии Закревской одно из последних стихотворений, надпись на подаренном ей сборнике поздней лирики «Седое утро». «Вы предназначены не мне, зачем я видел вас во сне?» – и так далее, довольно машинальные стихи, на автопилоте, но далеко не всякий сборник он сопровождал такими посвящениями.

В октябре 1920 года Уэллс посетил Россию, встретился с Лениным, в Петрограде посетил Тенишевское училище (его воспитанники отлично знали прозу Уэллса, но он не поверил, решил, что это Чуковский их настропалил), вообще о переменах в стране отзывался довольно скептически, ужасался разрухе, не верил в возрождение культуры… Был прием в его честь в Доме искусств. Шкловский кричал ему в лицо: «Скажите вашим англичанам, что мы ненавидим их за блокаду! Что мы презираем их за наш холод и голод! Что никто не смеет называть все это „курьезным историческим опытом“!» Встречу вел Замятин, долго живший в Англии и отлично владевший языком; он и замял скандал, в полном соответствии с фамилией. В разъездах Уэллса сопровождала Мура, и между ними вспыхнул роман – один из самых продолжительных в ее жизни. На вопрос, как она могла полюбить немолодого, пухлого и сдержанного англичанина, Мария Игнатьевна отвечала: «От него пахнет медом». Что поделать, от русских мужчин тогда пахло совершенно иначе.

Сама Закревская всегда утверждала, что их роман с Горьким был чисто платоническим, но трудно найти биографа, который, зная обоих, допустил бы это. Закревская легко и естественно попала в орбиту горьковского дома, в его огромную квартиру, в сложную и путаную среду, которую Горький немедленно организовывал вокруг себя, куда бы его ни занесло. В чем ему не было равных, так это в театрализации быта, в устроительстве сплошного хоровода, которым заправлял он сам: кажется, он органически не мог существовать без этого наивного украшения жизни, без самодеятельных номеров, многочасовых чаепитий, восторженно внимавших ему слушателей (рассказы, впрочем, повторялись и были отрепетированы до слова, до жеста). Быт горьковского дома всегда был шумным, безалаберным, отнюдь не богатым, но широким и гостеприимным. В доме на Кронверкском было легко встретить бывшего князя, комиссара, пролетария, писателя, бывшего коллегу Горького из числа нижегородских газетчиков или, чем черт не шутит, казанских грузчиков. Вот примерный перечень тех, кто чаще других собирался у него за

столом в 1919–1920 годах: Тихонов с женой, издатель З.И. Гржебин, А.Б. Халатов, председатель Центрального комитета по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), востоковед академик С.Ф. Ольденбург, А.П. Пинкевич, В.А. Десницкий, К.И. Чуковский, Е.И. Замятин, Ф.И. Шаляпин, Борис Пильняк, Лариса Рейснер, ее муж Раскольников, комиссар Балтфлота, М.В. Добужинский, режиссер С.Э. Радлов, а также, когда бывали в Петрограде, Красин, Луначарский, Коллонтай и сам Ленин, когда наезжал в Петроград из Москвы. Само собой, бывал тут и Максим Пешков, сын Горького, служивший в Москве в кремлевском аппарате на курьерской должности, но регулярно навещавший отца и затевавший беспрерывные дурачества за столом. В этом доме Мура стала своей уже к октябрю 1919 года, а в 1920-м выполняла множество горьковских поручений – в частности, переводы всех его писем за границу. Комнаты Горького и Муры были рядом. Многие считают, впрочем, что Горький влюбился не столько в Мурино женское обаяние, сколько в ее умение ловить каждое его слово. Исключать это трудно – он расцветал, когда чувствовал себя интересным.

12

Кстати, и знаменитый обыск, после которого Горький поехал в Москву требовать у Ленина защиты и справедливости, случился не в последнюю очередь из-за Марии Закревской, поскольку ее подозревали то в шпионаже для англичан, то в связях с немцами, и уж в любом случае в социальной чуждости. Именно в ее комнате искали особенно тщательно. Горький хотя и часто ссорился с Лениным в эти годы, но после покушения на него направил Ленину встревоженную и горячую телеграмму, и прекратил всякую оппозиционную деятельность, и регулярно искал у Ленина заступничества против террора питерских чекистов, – в 1920 году отношения были восстановлены если не до первоначального уровня, то по крайней мере до благожелательного нейтралитета. Горький встретился в Москве с Лениным, Дзержинским и Троцким. Для объяснений был вызван Зиновьев, с которым от страха случился сердечный приступ (Горький уверял, что симулированный). Зиновьеву за обыск ничего не было, но Горький получил гарантии неприкосновенности. Насколько их могло хватить – он не знал, но иллюзий не питал.

К Ленину он в эти годы обращается часто, и почти всегда – с вещами, которые сегодняшнему историку покажутся абсурдом, но Ленин вникал в горьковские просьбы и старался его беречь. Почему – сказать трудно: вряд ли из сентиментальных соображений, они были Ленину не свойственны. Авторитет Горького в глазах Запада тоже ни при чем. Вероятнее другое: Ленину был присущ врожденный, на генетическом уровне усвоенный пиетет к русской литературе. И ему, и его прослойке – провинциальной интеллигенции, воспитанной на подпольном чтении Чернышевского, – так и не удалось избавиться от этого предрассудка до конца. Может быть, поэтому Ленин ограничился высылкой творческой интеллигенции на «философском пароходе», а не уничтожил ее. Может быть, Горький представлялся ему действительно могучим художником – вкусы у него были традиционалистские, и горьковский социальный реализм был ему близок. Возможно, он просто считал Горького полезным в качестве связного между партией (членства в которой Горький не возобновил после перерегистрации) и интеллигенцией (которая Горькому теперь верила больше, чем когда-либо). Словом, если Горький просил за профессора – профессора отпускали. Если указывал, что из типографии «Копейка», где печаталась «Всемирка», забирают слишком много

рабочих на фронт или иные трудовые повинности, – «Копейку» оставляли в покое. А если Горький обращал внимание Ленина на то, что на улицах Петрограда гниет слишком много мешков с песком, оставшихся от уличных боев лета и осени 1917 года, – Ленин помечал: «В Утильсырье». И «Утильсырье» начинало выполнять горьковскую программу – собирать тряпки и отправлять их на бумажное производство.

Горьковское заступничество помогло бы и Блоку – но, увы, разрешение на его выезд за границу (с женой, без которой он был уже беспомощен) было получено лишь за день до его смерти. А вторая смерть, последовавшая в том же августе, Горького добила: несмотря на все его протесты, заступничества и ходатайства, по обвинению в контрреволюционном заговоре был расстрелян Николай Гумилев. Именно после этих двух смертей – в первой новая власть была виновата косвенно, во второй прямо – Горький понял, что и его имя никого уже не защитит и принадлежность к великому делу русской литературы ничего не гарантирует. Так созрела у него мысль об отъезде – но он не признавался в этом даже себе самому. Писатель, всю жизнь призывавший к перевороту и уехавший после него, тем самым признавался в крахе главных жизненных установок. Ленин видел горьковские колебания и подал ему отличную мысль – в 1907 году он услал его подальше от расправы в Штаты для сбора денег на русскую революцию, теперь же отправлял собирать средства для борьбы с голодом, от которого Россия в 1921 году сильно страдала вследствие засухи.

Так называемый «Помгол», или «Прокукиш» – организация помощи голодающим, или «Прокопович, Кускова, Кишкин», по фамилиям организаторов, – прокукишем и закончился: несколько десятков московских и петроградских интеллигентов, не сотрудничавших с большевиками напрямую и даже враждебных им, попытались, используя давние связи, добыть у Запада денег на спасение российских голодающих. Денег толком не добыли, а главное, сама советская власть чинила комитету препятствия на каждом шагу. «Помгол» не имел никаких административных функций, от него ничего не зависело, и большую его часть скоро арестовали (потом почти все помголовцы сами оказались в эмиграции). Пока же Горький активно пишет западным друзьям и коллегам – многие отзываются, но помощь их трудно назвать действенной. Ленин продолжает настаивать на отъезде Горького – то под предлогом сбора средств, то для лечения (и тут у Горького есть полное право на отъезд – он действительно истощен, болен неврозом и замучен кровохарканьем). В уже упоминавшейся дилогии Ромма есть эпизод, в котором Горький посещает Ленина

в Кремле – и Ленин долго спорит с ним о необходимости пролетарской жестокости, а великий гуманист, тряся усами, все никак не желает признать ее необходимость, пока случившийся тут же простой крестьянин не поясняет ему наконец всего величия классовых битв. Вряд ли в действительности между ними шли такие споры: Ленин в 1918, 1920, а паче в 1921 году слишком занят, чтобы убеждать Горького в пользе террора, да и вряд ли верит в силу собственных аргументов. Идеализировать их отношения не следует – хотя больше всего для этой идеализации сделал сам Горький, написав в мемуарном очерке, что Ленин в это время виделся с ним многажды и был к его просьбам необычайно внимателен. Горький – не самый достоверный мемуарист в силу отмеченной многими (прежде всего Ходасевичем) склонности к лакировке действительности. Конечно, в мемуарных очерках, написанных в первые заграничные годы, много удивительно мощных глав, живых и ярких характеристик. Но, во-первых, все горьковские герои, включая Ленина, говорят с одинаковой интонацией, с горьковскими бесчисленными тире и тяжеловесными постпозитивами («жизни моей», «письмо твое»…). Во-вторых, он склонен задним числом преувеличивать трепетность и уважительность их отношения к себе: пожалуй, лишь заметки о Толстом, основанные на записях по горячим следам тогдашних разговоров, вполне достоверны. Что касается Ленина – более чем сомнителен эпизод, в котором Горький везет Ленина к каким-то военным специалистам и Ленин там блещет эрудицией, задавая исключительно точные вопросы. Вопросы его, приведенные Горьким, довольно заурядны, да и вряд ли поехал бы предсовнаркома – даже с пролетарским классиком – по первому же его зову осматривать новое военное изобретение. Впрочем, Ленин вождизмом не страдал и военным делом живо интересовался – может, Горький тут и не преувеличивает. Но вот в чем преувеличивает точно – так это в ленинском вечном детстве, в задоре, юморе; вообще во второй редакции очерка (писанной семь лет спустя после ленинской смерти) сильный перебор по части сюсюканья. Вспомнить хоть «Прекрасное дитя окаянного мира сего» – в Ленине не было ничего детского, юмор его был довольно жесток и временами циничен, а в агрессии не просматривалось ничего умилительного. Чего у него не отнять – так это гениальной политической прозорливости (правда, в основном на небольших дистанциях, как это всегда бывает у политиков, не брезгующих никакими средствами). Кажется, старался он избегать и лишней жестокости – но кто скажет, где начинается лишняя и не является ли вся она лишней вообще? Спрашивал же он Горького сам: кто считается ударами в драке?

Какой именно удар – уже чрезмерен? В июле 1920 года Горький присутствовал на Втором конгрессе Коминтерна в Петрограде – это был последний приезд Ленина в город, который вскоре назовут его именем. Он побывал у Горького в гостях перед отъездом в Москву, подарил ему с дружеской надписью только что вышедшую, изданную к конгрессу «Детскую болезнь левизны в коммунизме», они сфотографированы вместе у колонн Таврического дворца – наголо бритый, осунувшийся Горький стоит чуть поодаль, не желая мельтешить в толпе, окружившей Ленина. Считается, что выражение у него на этой фотографии восторженное, – кажется, что скорее все-таки недоуменное.

13

В августе 1921 года Горький наконец уступил ленинским настояниям и выехал в Гельсингфорс – с чадами и домочадцами, но без Андреевой. Так началось его почти двенадцатилетнее (с перерывом на празднование юбилея в 1928 году) изгнание – самое плодотворное в литературном отношении время. После Гельсингфорса он оказался в Берлине, где затеял было журнал «Беседа» – силами эмиграции и российских писателей. Иллюзии насчет того, что граница еще не пересечена окончательно, что есть надежда на объединение русской литературы, сохранялись у него долго, да, собственно, границы и были относительно прозрачны до самой смерти Ленина, и сменовеховская газета «Накануне» свободно проникала в Россию, печатая и уехавших, и оставшихся, и сами возвращенцы могли – как Алексей Толстой – рассчитывать на прощение, если готовы были беззаветно служить интересам новой России. Но журнал «Беседа» вышел в количестве всего шести номеров, и Горький был жестоко разочарован отказом советской цензуры допускать журнал в РСФСР. Он начал печатать в этом издании свой новый цикл рассказов – частью автобиографических, частью выдуманных – и надеялся, что теперь наконец будет писать по-новому: экономно, точно, без лишних деталей и персонажей, избыток которых критика вечно ставила ему в вину. Он даже опубликовал один из рассказов – «Рассказ об одном романе» – под псевдонимом, чтобы проверить, легко ли опознается эта новая манера. Идея принадлежала Ходасевичу: он в это время сильно сблизился с Горьким, жил рядом с ним в немецком городке Саарове вместе с молодой красавицей Ниной Берберовой, которую вывез из России, оставив там жену. Ходасевич в споре с Горьким защищал беспристрастность критика Юлия Айхенвальда, – Горький же настаивал, что Айхенвальд не любит его именно за то, что он Горький, а не за собственно тексты. В результате «Рассказ об одном романе» вышел под псевдонимом «Василий Сизов», и Айхенвальд, к вящей горьковской радости, изругал обладателя псевдонима, то есть подтвердил свою литературную честность. Впрочем, правду сказать, – трудно не узнать льва по когтям и в этой новой горьковской прозе. Да, она скупей, экономней, точней, мучительней, если угодно, откровенней в деталях, – но это прежний Горький, особенно чувствительный и памятливый ко всему, что оскорбляет его представления о человеке, ко всему уродливому, унизительному, извращенному.

Интересно, кстати, его сближение с Ходасевичем – его

симпатии и антипатии позволяют поразительно точно понять его собственное состояние; умел он выбирать спутников по себе, ничего не скажешь. В девятисотые – сближение с Чеховым, Андреевым и Буниным, после революции – с Блоком, после эмиграции – с Ходасевичем… В Ходасевиче не было блоковского романтизма, блоковского упоения гибелью: это, как говорит у Толстого француз о князе Андрее, «субъект нервный и желчный», и Шкловский – сам не подарок – не зря писал, что у Ходасевича «муравьиный спирт вместо крови». Вот уж у кого не было иллюзий – правда, в отношении других; сам он в воспоминаниях, составивших книги «Некрополь» и «Белый коридор», всегда умнее, дальновиднее и благороднее современников, даже тех, которых любит. Ходасевич в самом деле исключительно умен и желчен – за что после разрыва получил от Горького такую же язвительную характеристику: всю жизнь, мол, проходил с крошечным дорожным несессером, делая вид, что это чемодан. Может быть, масштаб дарования Ходасевича в самом деле был не таков, чтобы автору сходили с рук столь резкие оценки и ядовитые суждения, но даже если бы он не был крупным поэтом, писавшим стихи высокого классического строя о свихнувшейся русской реальности и европейской послевоенной ночи, его ум и прозорливость вне сомнений; Ходасевич – лучший мемуарист и критик русской эмиграции. Трагическое разочарование, ужас всеобщей разобщенности, смертельно оскорбленная надежда – вот его темы; ужас перед расчеловечиванием мира, перед утратой того единственного, ради чего стоит терпеть человечество вообще, – вот доминанта его лирики, и Горький в 1922 году ощущает мир и себя примерно так же. Он нуждался в это время в спокойном и умном собеседнике, который помог бы ему с предельной четкостью сформулировать новую жизненную философию после петроградского хаоса; и скоро Горький эту философию формулирует – она сводится к роковой этической недостаточности человека, к необходимости его пересоздать. Если начал он с восторгов в адрес человеческой природы, если продолжил мечтой о том, что человек должен теперь заново создать Бога, – то в двадцатые годы, в эмиграции, пришел к синтезу: прежний человек доказал свое этическое банкротство. Пора создать нового, и на кого здесь опираться – пока неясно. Сначала надо с небывалой силой описать уродство и мерзость прежнего мира; и книга «Заметки из дневника. Воспоминания» вся полна описанием жутких картин человеческого безумия. Горький словно решился, как и предупреждал в предисловии, выбросить из головы все, что отягощает его память наиболее мучительно и настойчиво; и книга получилась страшная – ни до,

ни после он не писал так кратко и сильно. Пафосом своим она напоминает стихи Ходасевича тех же времен – «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума…». Или: «Счастлив, кто падает вниз головой: мир для него хоть на миг, но иной». Это не значит, что в мире, изображенном Горьким, нет места человечности. Есть – но участь ее плачевна, а главное, она никого не спасет.

14

Вообще «Рассказы 1922–1924 годов» и «Заметки из дневника» – лучшие его книги за всю жизнь: за ними чувствуется огромное, недавно пережитое страдание и страшная усталость от него. В «Отшельнике» появляется добрый утешитель, отличный от Луки, – тот утешал из самомнения, ради того, чтобы ему поклонялись и от него зависели, а этот похож на доброго лесного бога, которому всех бесконечно жалко. Та же мучительная, надрывная жалость переполняет лучший рассказ Горького – трехстраничную «Мамашу Кемских», о гимназистке, влюбившейся в пьяницу и буяна, изуродовавшего себя попыткой самоубийства. Она родила ему пятерых сыновей и теперь неустанно добывает пропитание на всю семью, высыхает, сходит с ума, становится посмешищем для города, – а город смотрит на ее страдания с равнодушной усмешкой, вечной усмешкой всякого русского Окурова. За один этот рассказ, написанный с необыкновенной музыкальной силой и композиционной точностью – куда «Старухе Изергиль»! – Горький заслуживал бы памятника.

> *«При жизни Кемского она кормила его и детей, зарабатывая уроками музыки и рисования, продавая мебель и вещи, а когда Кемской умер, тринадцать комнат двухэтажного дома были совершенно опустошены, и „мамаша“ с детьми забилась в две.*
>
> *Блестяще ухмыляясь, буфетчик говорил:*
>
> *– Все распродала; дети на полу спят, и сама валяется на полу, разве иной раз сена, соломы украдут; совсем одичали…*
>
> *Он восхищался, буфетчик, восклицая жирненьким голосом:*
>
> *– Ни зеркал нет, ничего! Добрые люди интересовались: зачем она муку эдакую взяла на себя? «Фамилию, говорит, поддержать надо, невозможно, говорит, чтоб такая фамилия вымерла, Кемские, дескать, Россию спасали много раз». Конечно, это – глупая фантазия: от чего Россию спасать? Россию никто похитить не может, Россия – не лошадь, ее цыгане не сворują.*
>
> *Двадцать восемь лет бегала по улицам города «мамаша Кемских», жилистая, лохматая, голодная волчиха, бегала, двигая челюстью, и всегда что-то нашептывала.*

Как молитву твердила, хотя – злая.

Она так оборвалась, обносилась, одичала, что «порядочные люди» уже не пускали ее к себе, и она не могла больше учить детей их музыке, рисованию. Стремясь насытить своих детей, она воровала овощи по огородам, ловила на чердаке голубей, воровала кур, летом собирала щавель, съедобные корни, грибы и ягоды; в зимние ночи, в метели ходила в лес воровать дрова, выламывала доски из заборов, чтоб согреть хотя одну печь полуразрушенного дома. Весь город изумляла неиссякаемая энергия «мамаши»; ее даже будто бы не преследовали за воровство.

– Разве иногда побьют маленько, но чтобы в полицию отправить – никогда! Жалели ее.

Горожан удивляло, что она не просит милостыню, ее даже уважали за это, но никто никогда не помогал ей жить.

– А – почему? – спросил я.

– Как вам сказать? Потому, надо думать, что уж очень злая и горда, хотелось поглядеть, докуда этой гордости хватит. Теперь, уж четвертый год, стали ей милостыню подавать; теперь она совсем с ума сошла. И – как вы думаете – на чем? Представьте себе – на детях! «Дети мои, – кричит, – на царства рождены: Борис – царь польский, Тима – болгарский, Саша – греческий царь», – вот как она! А мы этих царей бьем, они все в мать пошли – воры. Бориска даже горбат, из окна вывалился, будучи ребенком, Тимофей – дурачок, Александр – глухонемой, еще один, меньшой, тоже выродок. Главное – все воры, а Борис особенно нахален в этом. Только из старшего, Кронида, человек вышел, он бойцом на бойне работает».

Перед нами блестящая метафора России, нищей, сошедшей с ума, но все не желающей проститься с былой славой. Однако в том же 1922 году Горький написал о России куда более страшные слова – он опубликовал брошюру «О русском крестьянстве», которую на родине автора не перепечатывали восемьдесят пять лет. Действительно, сказано тут о России так – и такое, – чего прежде никакой Чаадаев себе не позволял. Правда, здесь в основе все та же механистическая дихотомия: раньше противопоставлялись Европа и Азия, теперь – город и деревня.

«Я думаю, что русскому народу исключительно – так же исключительно, как англичанину чувство юмора – свойственно чувство особенной жестокости,

хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами „психоз“, „садизм“, словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Не думаю, чтоб русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее. Можно допустить, что на развитие затейливой жестокости влияло чтение житий святых великомучеников – любимое чтение грамотеев в глухих деревнях. Если б факты жестокости являлись выражением извращенной психологии единиц – о них можно было не говорить, в этом случае они материал психиатра, а не бытописателя. Кто более жесток: белые или красные? Вероятно – одинаково, ведь и те и другие – русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток – наиболее активный…»

То есть виновата в конце концов Россия как страна по преимуществу сельская. А большевизм – в русле той же отвратительной жестокости, но у него есть исторический шанс порвать замкнутый круг, превратить Россию во что-то другое. Пожалуй, «О русском крестьянстве» – итоговый для Горького текст, результат его долгих размышлений о русской революции и в конечном итоге свидетельство внутренней готовности принять ее – просто как меньшее зло для страны.

15

Чем же все-таки была русская революция и как надлежит оценивать ее из дня сегодняшнего? Почему Горький решительно отвергал большевистскую практику и все-таки не порывал с большевизмом до конца? Как соотносятся русское и советское – и как между ними выбирать? Об этом спорили девяносто лет, ни до чего не доспорившись, ибо некоторые вещи вроде бы и очевидны, но вслух их проговорить трудно. Пожалуй, один Горький на это решился. Главный пункт расхождения сторонников и противников русской революции – в том, считать или не считать советское продолжением и концентрированным выражением русского. Может, это русские виноваты в том, что все у них происходит так по-зверски?

История помогла ответить на этот вопрос вполне однозначно. Коммунизм, где бы он ни побеждал, приводит более или менее к одним и тем же результатам. Китайских и камбоджийских ужасов Россия все-таки не знала. Коммунистические зверства – не следствие русского садомазохизма, а нечто принципиально иное, общее для всех тоталитарных режимов. Но тут-то и возникает самая страшная мысль: что, если русское будет еще и пострашней? Что, если выбор между советским и русским – как раз и есть безнадежная попытка выбрать между ужасным концом и ужасом без конца? Ведь советский проект, при всех его зверствах, был попыткой вытащить русскую историю из круга бесконечных, циклических повторений, ведь он нес преодоление вековечной и беспросветной отсталости, привносил в русскую историю какую-никакую вертикальную мобильность, снимал сословные барьеры, уничтожал чудовищный зазор между элитой и массой… Как ни ужасно советское – России десятых годов оно несло не только пытки, но и прогресс. Это уж личный выбор России, что от всего прогресса она через семьдесят лет избавилась, а пытки благополучно продолжила. Иными словами, советское было для России прогрессом ровно в той степени, в какой плохая жизнь является прогрессом по отношению к безжизненности, а кровавая история – к доисторическому вневременному социуму, в котором вдобавок хватает и собственного зверства.

Так что статья Горького 1922 года «О русском крестьянстве» была не актом прощания с Россией, а залогом возвращения, свидетельством твердой веры в то, что большевики – при всех их безусловных и страшных пороках – единственная сила, способная справиться с изначальной дикостью и зверством Родины.

В 1923 году Горький чувствует, что овладел новой лапидарной прозаической манерой настолько, чтобы осуществить свою давнюю мечту – так сказать, правильно переписать «Фому Гордеева». Его занимает попытка показать несколько поколений русской купеческой семьи, богатой и процветающей, а также объяснить, почему такая семья не может быть опорой стране и рано или поздно развалится. «Коротко написать большой роман», как формулировал он в письмах, – его давняя мечта. «Дело Артамоновых» было попыткой создать русских «Будденброков» – и одновременно последней пробой сил перед главной работой, многотомной эпопеей о двух русских революциях, о которой Горький мечтал с восемнадцатого года.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПЛЕННИК

1

Прежде чем печатать «Дело Артамоновых», Горький опубликовал – сначала по-французски, в «Меркюр де Франс», а потом по-русски, в альманахе «Ковш», – последний свой рассказ, или по крайней мере последний шедевр в этом жанре. Это «О тараканах», тематически примыкающий к циклу «Рассказы 1922–1924 годов», и написан он на вечную горьковскую тему, сформулированную в одной из его записей 1918 года: «Жить похоже на людей – скучно, а непохоже – трудно». И герой этого рассказа, Платон Еремин, томим все той же вечной скукой горьковских героев (к сожалению, сама эта скука в художественном описании скучна, и никакого выхода из нее нет – разве что в эксцентриаду, в полусумасшествие, как это случилось в рассказе «О тараканах», где как раз тараканы и олицетворяют вечную русскую провинциальную тоску).

> *«Все жили скучно. Неинтересно живут приказчики с их тревожной, суетливой беготней за швейками. Неужели не скучно жить первому тенору с его фальшивым перстнем? От скуки дворник Федор ежедневно играет в карты с поваром адвоката Интролигатина, адвокат же каждую ночь уходит в клуб играть в карты. Если б жизнь была интересна, никто не играл бы в карты. Все более тягостно он чувствовал эту всюду, как дым, проникающую скуку, но не мог понять, чего он хочет, и не пробовал искать, где скрыто интересное, не похожее на то, чем заняты все люди».*

Этот человек, Платон Еремин, очень похож на прочих горьковских чудаков – и на самого Горького, томимого той же скукой, – так что недоумевающий читатель, знакомый уже с этим полубезумным типажом по рассказу «Голубая жизнь», вправе спросить: зачем снова и снова описывать одних и тех же чудаковатых часовщиков, скучных докторов, распутных горничных, скупцов, купцов, всю русскую жизнь, сводимую к одному бесконечному Окурову? Однако рассказ «О тараканах» проливает свет на причины удивительного горьковского упорства, с которым он продолжает фиксировать увиденное, населять свои рассказы и романы бесчисленными, хотя и трудноразличимыми, героями. Каждый заслуживает того, чтобы о нем рассказали. Весь рассказ «О тараканах» – попытка придумать биографию случайно увиденному мертвецу.

«Разумеется, вполне возможно, что „нездешний“ человек, умерший „на ходу“, не тот, о котором я рассказал; что он не так жил, не так чувствовал и думал. Но все существует лишь для того, чтоб о нем было рассказано. И совершенно недопустимо, чтоб какой-то человек валялся мертвым ночью, у камня, на берегу лужи, и чтоб поэтому нельзя было ничего рассказать».

В этом смысл инвентаризации, которой Горький подвергает мир, и Россию в особенности: рассказать, не дать кануть бесследно – уже значит наделить хоть каким-то смыслом. А другого смысла, может быть, и нет. Автор мучительно тяготится грузом полуслучайных, хаотических сведений – но никуда не может сбежать с добровольной каторги протоколирования, фиксации жизней, от которых ничего больше не останется.

«Отчаянно много знаю я анекдотов. Я оброс ими, точно киль корабля моллюсками, и это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне: как всякий уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе».

Жаль только, что истина – в том числе и художественная – представлялась ему лишь приличным гробом, лишь очередной выдуманной условностью: в сущности, рассказ ведь еще и о том, что истина недостижима, что правды об умершем никто никогда не узнает, как не знаем мы ее и о себе самих. Эта вполне релятивистская, но в чем-то весьма человечная мысль послужила толчком для многих европейских романов, выросших из горьковского приема – из реставрации анонимной биографии; так сделан чапековский «Метеор» – один из лучших чешских романов, так же придуман роман Майкла Ондатже «Английский пациент», прославившийся благодаря оскароносной экранизации. Рассказ – в особенности поэтическая вступительная часть, где и формулируется художественная задача, – сильно повлиял на европейскую прозу; в России его мало кто заметил.

2

Зато «Дело Артамоновых» было встречено единодушным восторгом – главные комплименты достались стилю, лапидарному и простому. «Дело Артамоновых» – в самом деле очень простой роман, с яркими персонажами и наглядной моралью. Это не столько русские «Будденброки», сколько уплощенная их версия; однако в чем «Артамоновым» не откажешь – так это в увлекательности изложения и лаконизме. С идеологией тоже все в порядке, и это доказывает, что сколь бы ни сокрушался Горький о бессмыслице человеческого существования, каких бы горьких слов ни говорил о горькой участи человека на свете, – а марксизм оставался-таки для него руководством к познанию мира: роман повествует об истории русского капитализма, о его кратковременном расцвете, бурной молодости и неизменном крахе под ударами сознательного пролетариата. То есть эмигрантским писателем Горький не был и быть не собирался – его роман вполне годится в качестве иллюстрации к ленинскому «Развитию капитализма в России». Правда и то, что историй, подобных артамоновской – со стремительным восхождением бывшего крепостного в первые ряды российских фабрикантов, – было множество.

Уже в 1927 году он принял твердое решение возвращаться в СССР. Есть версия, согласно которой его обрабатывали через сына Максима, у которого были многообразные связи с ЧК (он работал там до отъезда – и, возможно, сам этот отъезд был инспирирован: его отправили вслед за отцом, чтобы влиять на него «с нужных позиций»). По другой версии, Горький ждал Нобелевской премии, которая решила бы все его материальные проблемы, но выяснилось, что премия не светит, и он решил искать другой славы и другого дохода. Все это, однако, были вещи вторичные – уж как-нибудь он заработал бы себе на жизнь со своим именем: его пьесы шли, рассказы печатались, и, в отличие от большинства русских эмигрантов, он обильно переводился. Главной побудительной причиной возвращения была белая – а может, и не совсем белая – зависть к тем, кто строил социализм, к тем, кто осуществлял, как ему казалось, вековую мечту человечества и собственную его мечту. О том, что он относился к социализму как к новой религии, говорит многое: в сущности, его концепция так и осталась богоискательской. Создать нового человека, новую религию без Бога, новый тип общества – без тирана, или, точней, с тираном коллективным, всенародно поддержанным… Этой мечтой он жил, и подтверждения его странных фантазий

приходили из СССР ежедневно. Его посещали удивительные люди, словно выплавленные в революционной плавильне: Леонид Леонов – к двадцати семи годам автор двух больших романов, один из которых, «Вор», мог без натяжек считаться классикой. Всеволод Иванов, на глазах выросший в крупного писателя, реалиста с виду, фантаста в душе. Михаил Кольцов, молодой журналист, заправлявший огромным журнально-газетным объединением, бомбардировал его письмами с отчетами и заказами – и у Горького руки чесались поучаствовать в великом деле становления новой русской печати: организатором он был безупречным, а генератором идей – неутомимым. Там была жизнь, в Европе – смерть, в Америке зрела экономическая депрессия (и когда она пять лет спустя разразилась, среди американцев резко увеличилась доля поклонников советского строя – они рванулись в СССР так же, как раньше толпы переселенцев устремлялись в США, в свободное общество равных возможностей, в страну энергичных преобразователей мира). Выбор Горького был предрешен, и в СССР его даже не особенно торопили, понимая, что он дозреет и сам. Он уговаривал Шаляпина вернуться вместе – тот отказался наотрез. И Горький с семьей выехал в СССР 26 мая 1928 года, берлинским поездом. На пограничной станции Негорелое для него был устроен митинг, и дальше – с 10 по 11 мая – весь его путь сопровождался непрерывными торжественными встречами. Главная – в Москве, на площади Белорусского вокзала – превратилась в грандиознейшее празднество: его несли на руках до самой квартиры Екатерины Пешковой на Тверской, а вскоре предоставили для жительства особняк миллионера Рябушинского на Малой Никитской.

Решение Горького вернуться и последние восемь лет его жизни – советских лет, которые во многом «испортили ему биографию», чего он так боялся, – предопределили весьма скептическое отношение к нему со стороны советских и в особенности постсоветских писателей. Вот что написал о нем Вячеслав Пьецух, выдающийся прозаик и историк, в эссе с ядовитым названием «Горький Горький».

«Все мы, грешные русские люди, подвержены очарованию сильной властью, и разве Пушкин не восторгался Николаем I Палкиным, разве Белинский не написал „Бородинскую годовщину“, а Герцен не умилился реформам Александра II Освободителя, и разве сами мы, внуки и правнуки Великого Октября, попадись нам на глаза портрет усатого дядьки с лучистым взглядом, не думаем про себя – дескать, конечно, зверь был Иосиф Виссарионович, но родной; как говорил великий

Фрэнсис Бэкон, севший в тюрьму за взятки, – это не мое преступление, а преступление моего века. В сущности, Горький не был ни хитрецом, ни злодеем, ни ментором, впавшим в детство, а был он нормальный русский идеалист, склонный додумывать жизнь в радостном направлении, начиная с того момента, где она принимает нежелательные черты. Вот как бывают горькие пьяницы, нарочно затуманивающие око своей души, так и Горький был горьким художником, бурным общественным деятелем, беззаветно преданным отечественной культуре, заманчивым собеседником, верным товарищем, милым, добродушным, взбалмошным мужиком, то есть он был хороший человек, да только литературе-то от этого не холодно и не жарко».

Ну, здесь многое неверно даже и по факту – насчет горьковского добродушия в особенности; видеть в Горьком идеалиста – значит в свою очередь идеализировать его, ибо человека с таким жестким и недоброжелательным взглядом еще поискать. И вовсе не сильной рукой был очарован Горький – он, почитай, и не видел проявлений этой сильной руки, ибо истинных масштабов террора не сознавал, искренне полагая, что все ограничится ликвидацией его давних врагов. Как-никак, от Зиновьева он в Петрограде много натерпелся. И не террор ему рисовался, а перевоспитание. А уж когда у него портилось настроение, он начинал выкладывать людям такую правду о них, какой и самый отпетый циник себе не позволял. «Добродушный и взбалмошный мужик» был человеком холодным, желчным, расчетливым, а главное – совершенно неспособным к некоторым простым и живым человеческим чувствам. Вот почему «Жизнь Клима Самгина» – отличный пример использования собственных пороков для создания настоящей литературы.

3

Впрочем, версия о том, что Клим Самгин – всего лишь теневая сторона горьковского характера, а сама книга – его скрытая автобиография, никакого отношения к реальности не имеет. Ее активно высказывали в послеперестроечные времена, и даже такой тонкий исследователь, как Борис Парамонов, писал нечто подобное. На самом деле у Самгина нет с Горьким почти ничего общего – хотя бы потому, что Самгин знает, как быть правым в любых обстоятельствах, а Горький всю жизнь только и делает, что подставляется. Первоначальное заглавие книги – «История пустой души», а горьковскую душу пустой никак не назовешь: он постоянно одержим разнообразными идеями, по большей части созидательными, да вдобавок у него своя концепция Бога, мироздания, человека, он сторонник активного делания, не отказывается ни от какой работы, в том числе и самой рутинной, – словом, Самгин, чьим единственным талантом является талант хорошо выглядеть в любой коллизии, никак не альтер эго Пешкова. Единственное, что их роднит, – горьковская писательская способность подмечать за людьми самое отвратительное, сосредоточенность на отталкивающих деталях и жутковатых историях; у Самгина это тоже есть, тут горьковский прицельный взгляд пригодился, но ведь Самгин подмечает это не как писатель, ему это нужно, чтобы профессионально унижать окружающих. Никакой другой цели, кроме как позиционировать себя и срезать других, у него нет.

«Жизнь Клима Самгина» – действительно великий роман, необходимый любому, кто хочет понять русский XX век, – стоит в отечественной литературе особняком, как, собственно, и сам Горький – странная фигура, не имеющая аналога. Никогда – ни до, ни после – в России не писали разоблачительных эпопей. Но тут задача столь серьезна, что и четырех томов не жалко, потому что объектом разоблачения становится один из самых универсальных и притом вредоносных типов. Горький еще в десятые годы вместе с Андреевым издевался над ним, вводя в шуточную пьесу отряд интеллигенции «Мы говорили». Эта всегда правая интеллигенция ничего не делает, все опошляет, из всего извлекает предлог для доминирования, но это единственный способ хорошо выглядеть. В России любой, у кого есть хоть какие-то убеждения, рано или поздно окажется скомпрометирован; в этом тайна непостижимого авторитета Самгина среди ровесников, в этом же суть его привлекательности для женщин. Привлекательна, колдовски и демонически заманчива всякая

пустота, каждый наполняет ее своим содержанием. Самгин умеет выглядеть умным, сдержанным, солидным, а весь его духовный багаж – скепсис по отношению к любым горячим и непосредственным человеческим движениям. Самгин – тип очень русский, ибо только в России любые светлые идеи и благие намерения немедленно компрометируются, втягиваются в дурную бесконечность борьбы всех со всеми. Героями и кумирами тут весьма часто становятся ничтожества – ибо титаны обязательно в чем-нибудь да не правы, чем-нибудь да запятнаны, кому-нибудь не угодили. Самгин – главный герой русской предреволюционной реальности, пошляк, который знает все обо всем, но ничем не увлечен, осуждает и втайне презирает всех, но ничего не умеет; жертва всех модных поветрий – от социальной до сексуальной революции, – но ни одному увлечению не отдается вполне. В задачи Горького входило показать, как этот вечно приспосабливающийся герой умудряется выработать самую выигрышную позицию во время первой, второй и третьей русских революций, как умудряется обмануть всех героев – Лютова, Макарова, Туробоева, умную и проницательную Лидию Варавку, красавицу-сектантку Марину Зотову и даже большевика Кутузова, слишком поглощенного партийными делами и заботами, чтобы обращать серьезное внимание на Самгина. Но именно Самгин-то и есть его главный враг – потому что ему важна правота и совершенно не важна правда; Самгин встроится и в советский мир, и чудовищно в нем расплодится, и будет повторять свое «Мы говорили» – в ответ на любые попытки что-нибудь делать. Не случайно Горький, практически закончив книгу, так и не мог написать финала: в сцене убийства Самгина случайным рабочим во время демонстрации ему виделось что-то фальшивое. Вообще заканчивать роман смертью Самгина в 1917 году – как минимум искусственно: Самгин ведь и после никуда не делся. Он мог эмигрировать, мог остаться (самгинские черты легко обнаружить в Сомове из пьесы «Сомов и другие»), но внутренне не изменился бы ни на йоту. Большая часть советской верхушки состояла из Самгиных – они ведь водятся не только среди интеллигенции. Кстати, назвать роман Горького антиинтеллигентским – соблазнительно, но никак нельзя. Как раз интеллигенция – в особенности Туробоев, понимающий всю губительность революции для своего класса и идущий навстречу ей без страха, – изображена в романе с любовью, пониманием, часто с умилением. И как раз большинство персонажей – вполне симпатичные люди, только увиденные циничным взглядом Самгина. Сверх того, Горький не лукавил, говоря Владиславу Ходасевичу, что когда-нибудь вспомнят Горького, спросят, что он написал, и получат

ответ: «Почти все было плохо, хорошая книга одна». И «Самгин» действительно очень хорошо написан.

4

…По возвращении Горький надолго прервал работу над романом, как и предполагал в Италии: появились новые заботы. Его поездки, планы, встречи, его семью и контакты плотно курировали чекисты. Уроженец Нижнего Новгорода Генрих Ягода, молодой заместитель руководителя ОГПУ Менжинского, втерся в горьковскую семью и числился среди ближайших друзей Буревестника. Именно Ягода был впоследствии обвинен в попытке государственного переворота и в отравлении Горького. О государственном перевороте он, может, и мечтал, потому что был патологическим карьеристом, но в действительности с ним произошло лишь то, что сам он без устали проделывал с другими: он стал жертвой такого же сфабрикованного дела, как организованное им лично «Шахтинское». Ягода был своим человеком в доме Горького и, по слухам, лично подсказал ему идею поездки на Соловки – в Англии к тому моменту вышла книга единственного выжившего беглеца из Соловецкого лагеря особого назначения, ингуша Созерко Мальсагова «Адские острова: советская тюрьма на Дальнем Севере». Нужно было срочно опровергнуть ужасы, о которых рассказал Мальсагов. Впрочем, Горький рвался на Соловки по собственным мотивам – он желал увидеть лабораторию, в которой выводят нового человека. Эта поездка осуществилась в его следующий визит (окончательное возвращение состоялось только в 1931 году).

Горький удивительно много ездил в 1928 году. Сразу же он вызвал к себе Федина – одного из «Серапионов», из любимцев, и Федин немедленно приехал из Ленинграда к нему в Машков переулок – Горький остановился у первой жены, Екатерины Пешковой.

«Почти семь лет я не видел Горького, но шел к нему с чувством, будто все время не расставался с ним. Не успел я ступить в маленькую столовую, как Горький вышел из соседней комнаты, быстро распахнув дверь. Он постоял неподвижно, потом протянул обе руки. Он показался мне похудевшим, удивительно тонким, элегантным и таким высоким, что комната словно еще уменьшилась. Он постарел. Нельзя было бы найти на его лице и тени дряхлости, но морщины стали очень крупными, голова посветлела. Сила его была прежней – я услышал ее, когда он меня обнял.

– Ну-с, вот видите ли… – произнес он тихо.

Пальцы его барабанили по столу. Московскую жизнь Горький начал с изучения новых методов воспитания. Он увлеченно

рассказывал мне об Институте труда. Вот, пожалуй, новая, мало известная мне черта: Горький благодушен».

Благодушество было вызвано, понятное дело, не только атмосферой всеобщего подъема и энтузиазма, но прежде всего небывалым вниманием, которым он был окружен. Он признавался Федину, что иногда ему кажется: все это не о нем, а о другом человеке, каком-нибудь его двоюродном брате. Кажется, он для того только и позвал Федина, чтобы продемонстрировать ему этот накал всеобщего обожания: специально повез его с собой на машине в Госиздат – а там люди, десятки людей, с папками, с рукописями, с заявлениями, обоих изрядно помяли, требуя выслушать, прочесть, войти в положение… Видимо, тут были не одни литераторы – графомания в СССР тогда не приняла еще столь массовых масштабов, – но и простые жалобщики, знавшие, где застать Горького. Как бы то ни было, по сравнению с итальянским существованием, где он не пользовался ни такой славой, ни таким доверием, – это было счастьем. Желая им насытиться, он принялся неутомимо колесить по стране: 20 июля 1928 года – он в Баку, на промыслах «Азнефти», потом выступает на пленуме местного совета и беседует с рабкорами. 22 июля он уже в Тбилиси (там чествование). 24 июля он захотел посетить детскую колонию в Коджорах (о причинах этого настойчивого интереса к местам заключения и перевоспитания мы скажем ниже). 25 июля он в Ереване, 26-го вернулся в Тбилиси, 28-го выехал во Владикавказ, оттуда – в Царицын, ныне Сталинград, и оттуда привычным маршрутом до Казани отправился по Волге. 2 августа он выступал в Самаре, 3 августа приехал в Казань, вечером 4 августа выехал в Нижний и 7 августа прибыл туда. На родине провел три дня и 10 августа выехал в Москву. Такого распорядка не выдержит иной молодой, а Горькому только что исполнилось шестьдесят. Примечательно, что он проезжает на автомобилях и пароходах по тому же маршруту, которым в 1892 году шел с Волги на Кавказ – только в обратном направлении. Замысел книги «По Союзу Советов» как раз в том и состоял, чтобы ответить на собственную книгу «По Руси», включающую мемуарные очерки девятисотых годов. Разумеется, увидеть что-то из окна автомобиля, да во время беспрерывных чествований и встреч с рабкорами, да еще в таком темпе – нереально: хоть в очерках и подчеркивается – «едем неспешно», – однако график его перемещений говорит сам за себя. Правда, успел он заметить многое, подтвердив и зоркость, и памятливость: в очерках множество имен, фактов, наглядных достижений – хотя видит он только витрину, но витрину эту рассматривает внимательно. Больше всего его восхищает организация труда и чистота.

5

Что чаще всего ставят Горькому в вину – так это очерк «Соловки», написанный в 1929 году по итогам двух дней, проведенных на Соловецких островах, – 20 и 21 июня 1929 года (он прибыл туда на печально знаменитом пароходе «Глеб Бокий», доставлявшем на Соловки заключенных, но прибыл, что примечательно, в обществе самого Глеба Бокия), – а также редактирование книги о Беломорканале, которую Солженицын назвал «первой книгой в русской литературе, воспевающей рабский труд». С этим определением не поспоришь, но как раз эти грехи Горького – не то чтобы самые простительные (это вообще решать не нам), но самые объяснимые, вытекающие из самой природы его таланта и мировоззрения; не огрехи, не частные отступления от безупречной генеральной линии, но проявления подлинной его сути. Человек есть то, что должно быть преодолено, – формула Ницше, горячо воспринятая Горьким, а может, постигнутая самостоятельно до всякого знакомства с Ницше. Человек должен на каждом шагу преодолевать себя, расти над собой, себя воспитывать – а если он не занимается этим сам, это сделают другие. Горький воспринял Соловки как лабораторию по выведению нового человека. Страшно сказать – как во всякой научной лаборатории, для эксперимента тут был взят отбракованный, порченый человеческий материал. Могут сказать, что это ничем не отличается от нацистских экспериментов над людьми, но нацистские эксперименты отрабатывали технику убийства, а чекистские как-никак – по крайней мере в двадцатые, когда труд заключенных еще не применялся столь массово, – были направлены именно на формирование новой людской породы. Над заключенными Соловков не ставили химических опытов, их не морили ядами, не погружали в кислоты или морозильные камеры – словом, попытки уравнять чекистов с доктором Менгеле свидетельствуют лишь о глупости уравнителей; но объяснять создание Соловецкого лагеря одними лишь экономическими соображениями вроде массового использования труда заключенных было бы неверно. У советской власти были не столько экономические, сколько теоретические амбиции (что и сделало советский проект столь живучим, столь легитимным в глазах прогрессивного человечества): имелось в виду лабораторным путем создать из воров, мошенников и инакомыслящих другую человеческую породу, не просто перевоспитать, а полностью пересоздать! Почему для эксперимента были взяты именно эти категории населения –

понятно: они уже находились в распоряжении экспериментаторов, их не надо было искусственно сгонять в бараки. А не выйдет – не жалко: материалец бросовый, уголовный элемент да старая интеллигенция, которой все одно помирать.

Горький в очерке «Соловки» особо подчеркивает экспериментальный характер происходящего: *«Это сделано силами людей, которых мещане морили бы в тюрьмах».* Что такое, по Горькому, мещане – мы хорошо знаем из пьесы и «Заметок о мещанстве»: это как раз те люди, самые обычные люди, которые не желают переделываться, не ставят себе великих задач по переделке мира и друг друга. Это у него в стихах называлось «А вы проживете на свете, как черви слепые живут»: ни сказок, стало быть, о вас не расскажут, ни песен, вроде вот этой, о вас не споют. В обычном мире, мире мещан, преступников морили бы в тюрьмах – а здесь их морят в уникальной человековедческой лаборатории («человековедение» – горьковский неологизм, очень не случайный: речь идет не просто об изучении, но об активном использовании; ведь природоведением, скажем, занимаются не из абстрактных познавательных интересов, а чтобы научиться пользоваться тайнами окружающей природы, – так и с человеческой природой, которая должна стать объектом целенаправленного вмешательства). Горький ненавидит буржуазные тюрьмы, разлагающую тюремную праздность – здесь же он видит интенсивную занятость заключенных, самый труд их, весьма тяжелый, кажется ему благом, это лучше, чем без воздуха в камере сидеть или на каторге гнить. Каторжный труд ужасен именно бессмысленностью, а здесь он созидателен, и Горький всячески подчеркивает, что заключенные получают от труда удовольствие.

> *«Питомник – целый город, несколько рядов проволочных клеток, разделенных „улицами“, внутри клеток домики со множеством ходов и выходов, как норы, в каждой клетке привычная зверю „обстановка“, деревья, валежник. Не все звери прячутся от людей, лишь некоторые лисы загоняют детенышей в домики-норы. Соболиха, у которой взяли кутенка, бешено заметалась по клетке, прячась в куче валежника, высовывая из него некрасивую, конусообразную голову, фыркая, оскаливая острые, щучьи зубы. – Очень дикий зверь, – любовно говорит заведующий. И затем – с гордостью – Видите – принес детеныша! Первый случай. Американцам еще не удалось получить потомство от соболя.*
>
> *С моря дует неласковый ветерок, озорниковато*

нагоняя волны на борт лодки. Над нами летает чайка. Иногда с воды поднимаются утки, пролетят недалеко и снова тяжело падают на воду, точно окрыленные камни.

Рядом со мною сидит человек из породы революционеров-"большевиков" старого, несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу, и мне хотелось бы сказать ему о моем уважении к людям его типа, о симпатии лично к нему. Он, вероятно, отнесся бы к такому «излиянию чувств» недоуменно, оценил бы это как излишнюю и, пожалуй, смешную сентиментальность.

– Знающий человек, хорошо работает, – говорят мне о заведующем конским заводом, бывшем офицере Колчака. Показывая лошадей, он говорил о каждой так подробно и напористо, точно хотел добиться, чтоб лошадь поблагодарили за то, что она такова.

– Вы, конечно, не кавалерист, – с большим сожалением сказал он одному из посетителей, и было ясно, что он говорит: «Понять, что такое конь, вы, конечно, не способны, несчастный!» Затем он показал борова весом 432 килограмма, существо крайне отвратительное, угрюмо-самодовольное. Его тяжестью и способностью к размножению свиней весьма гордятся. Свиней – очень много, и, как везде, они, видимо, вполне довольны жизнью, но, разумеется, – хрюкают».

Последняя цитата весьма красноречива, это прямо портрет всей соловецкой колонии: да, свиньи (особенно Горькому отвратительны провокаторы царских времен, он их тут тоже наблюдал), но они довольны жизнью! А что хрюкают – так на то они и свиньи. Из них тут живо сделают людей, и весь СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения – предстает в изображении Горького неким советским островом доктора Моро. Жаль, что мы мало знаем об отношении Горького к этому роману Уэллса – вероятно, лучшему, – а ведь при всей противоположности биографий у Уэллса с Горьким много общего, по крайней мере на уровне вопросов, которые они оба ставили. (Кстати, именно из «Острова доктора Моро» взят эпиграф к лучшей книге о Соловках – воспоминаниям Юрия Чиркова «Так это было». Правда, Чирков был на Соловках с 1935 года, когда условия там ужесточились стократно.) Можно ли усовершенствовать человеческую природу, пусть насильственно? Можно ли вторгаться в Божий замысел о человеке – пусть хирургически? Уэллсовский Моро – предтеча нынешних евгеников, бионików, соционików, генных инженеров, адептов

клонирования; двадцать первый век переводит на уровень личности, отдельной человеческой единицы то, что в двадцатом проделывалось с огромными людскими массами. Моро делает людей из зверей, на Соловках делают сверхлюдей из человеческих отбросов, как их тут понимают… А тема этих отбросов всегда была для Горького очень значимой: как-никак, в их среде он прожил с двенадцати до девятнадцати лет, и те, кто выброшен из общества, всегда казались ему победителями этого общества, людьми особенной, высшей породы, отвергнувшими условности. Из кого же и сделать сверхграждан, как не из них? Соловки потому и вызывают у Горького такой интерес, потому и становятся темой его публицистики, что здесь в реальности осуществляется то, о чем мечтал он: новых людей, полубогов, можно сделать только из тех, кому нечего терять. Кстати, именно здесь – корень его интереса к Куряжской колонии Макаренко и к Коммуне имени Дзержинского, которые он посетил 8 и 9 июля 1928 года, сразу после возвращения в СССР. Хватало, вероятно, в стране и других объектов для его восторженного интереса, но он начал именно с колонии Макаренко – названной, кстати, его именем. И в отличие от прочих переименований – а именем его называли все подряд, – это имело смысл. Еще в 1927 году, окончательно решившись на переезд и намереваясь только дописать второй том «Самгина», Горький планировал (это из его письма в Госиздат – о плане будущей книги «По Союзу Советов»):

> *«Мне хочется написать книгу о новой России. Я уже накопил для нее много интереснейшего материала. Мне необходимо побывать – невидимым – на фабриках, в клубах, в деревнях, в пивных, на стройках, у комсомольцев, вузовцев, в школах на уроках, в колониях для социально опасных детей, у рабкоров и селькоров, посмотреть на женщин-делегаток, на мусульманок и т. д. и т. д. Это – серьезнейшее дело. Когда я об этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от волнения».*

Колонии для социально опасных детей – в первых же планах. Потому что здесь его тема: создание нового человека. И только этим он озабочен по-настоящему – куда больше, чем всеми производственными успехами. В самом деле, сравните: фабрика, где делают полотно или кирпичи, – и фабрика, где изготовляют сверхлюдей!

6

О том, что делалось на Соловках в действительности, рассказано много и многими. Мемуары о горьковском визите оставил академик Лихачев, сидевший там за участие в невиннейшем студенческом кружке с 1928 по 1931 год. О нем подробно пишет Александр Солженицын со слов многих зэков, слагавших легенды о том визите, – и легенды эти подтверждаются, слишком многие видели, как Горького близ Секирной горы остановили заключенные, тащившие мимо тяжелые бревна. Из колонны ему закричали: «Спасите, Алексей Максимович, погибаем!» Его узнал один из сокамерников – Юрий Чирков передает соловецкую легенду, описывая сухого строгого старика, который якобы сидел с Горьким в одной камере в 1905 году. Парадокс, однако, в том, что ни в какой общей камере Горький в 1905 году не сидел – он провел, как мы помним, месяц, с 12 января по 14 февраля, в одиночке в Петропавловской крепости, где писал «Детей солнца» (арест был связан с антиправительственным воззванием, которое он написал сразу после Кровавого воскресенья). Либо старик сидел с Горьким в 1901 году, либо слегка приврал, надеясь, что Горький поверит (в советских тюрьмах, как и в советских пивных, было множество рассказчиков, якобы лично сидевших с Высоцким), либо здесь ошибается кто-то из очевидцев. Хотя встреча с давним сокамерником могла быть и вымышленной – очень уж сюжет наглядный: приезжает Буревестник в советскую тюрьму и встречает сокамерника по тюрьме царской, который говорит ему (в передаче Чиркова): «Царские тюрьмы вынесли, а этой не переживем». Еще более живучей оказалась легенда о некоем четырнадцатилетнем мальчике, который якобы рассказал Горькому всю правду о Соловках, чем вызвал у писателя слезы и клятву обязательно во всем разобраться. Эту легенду пересказал Солженицын в художественном исследовании «Архипелаг ГУЛАГ».

«Это было 20 июня 1929 года. Знаменитый писатель сошел на пристань в бухте Благоденствия. Рядом с ним была его невестка, вся в коже (черная кожаная фуражка, кожаная куртка, кожаные галифе и высокие узкие сапоги) – живой символ ОГПУ плечо о плечо с русской литературой.

В окружении комсостава ГПУ Горький прошел быстрыми длинными шагами по коридорам нескольких общежитий. Все двери комнат были распахнуты, но он в них почти не заходил. В санчасти ему выстроили в две шеренги в свежих халатах врачей и

сестер, он и смотреть не стал, ушел. Дальше чекисты УСЛОНа бесстрашно повезли его на Секирку. И что ж? – в карцерах не оказалось людского переполнения и, главное, – *жердочек* никаких! На скамьях сидели воры (уже их много было на Соловках) и все… читали газеты! Никто из них не смел встать и пожаловаться, но придумали они: держать газеты вверх ногами! И Горький подошел к одному и молча обернул газету как надо. Заметил! Догадался! Так не покинет! Защитит!

Поехали в Детколонию. Как культурно! – каждый на отдельном топчане, на матрасе. Все жмутся, все довольны. И вдруг 14-летний мальчишка сказал: «Слушай, Горький! Все, что ты видишь, – это неправда. А хочешь правду знать? Рассказать?» Да, кивнул писатель. Да, он хочет знать правду. (Ах, мальчишка, зачем ты портишь только-только настроившееся благополучие литературного патриарха… Дворец в Москве, именье в Подмосковье…) И велено было выйти всем – и детям, и даже сопровождающим гепеушникам – и мальчик полтора часа все рассказывал долговязому старику. Горький вышел из барака, заливаясь слезами. Ему подали коляску ехать обедать на дачу к начальнику лагеря. А ребята хлынули в барак: «О комариках сказал?» – «Сказал!» – «О жердочках сказал?» – «Сказал!» – «О вридлах сказал?» – «Сказал!» – «А как с лестницы спихивают?… А про мешки?… А ночевки в снегу?…» Все-все-все сказал правдолюбец мальчишка!!!

Но даже имени его мы не знаем».

Эта история тоже кажется слишком драматичной и даже мелодраматичной, чтобы быть правдой, но с другой стороны – почти все соловецкие сидельцы, оставившие мемуары, вспоминают, что в лагере об этом рассказывали. Правда, вряд ли советская власть в 1929 году расстреливала четырнадцатилетних детей, хотя бы и за жалобу Горькому, – но с другой стороны, она мало перед чем останавливалась. Как бы то ни было, реально ли существовал этот мальчишка, рассказавший всю правду, или выдуман, но порассказать на Соловках было о чем. Там широко применялись пытки – упомянутая жердочка, когда человека часами заставляли сидеть на жердочке, а упавших избивали; «комарики» – когда заключенных оставляли на ночь в лесу, на съедение гнусу, который на Соловках свирепствовал; о прочих издевательствах, голоде, постоянных избиениях – что и говорить. Больше того: Горький принял за дело рук заключенных многое из того, что построили и обустроили еще монахи (о которых в его очерке сказаны жестокие, брезгливые, оскорбительные слова – больше всего его оскорбляло, что они не хотят с ним говорить; можно себе представить, как он издевался бы над их словами! –

но он отыгрался, поизмывавшись над тем, как они набросились на предложенную им колбасу). Но вот обманули его – или он был обманываться рад? По всей вероятности, всякого навидавшись и имея полное представление о русской реальности, Горький и не предполагал, что Россию можно переустроить без насилия, что формирование нового человека обойдется без хирургии. Жестокость, отвращавшая его в 1918 году, теперь кажется ему оправданной – от противного; не зря он пишет в письме 1935 года о своем тогдашнем состоянии, что прибыл в СССР после отвратительного опыта европейской жизни и оценивал здешние преобразования, исходя из этого. Видел, мол, и нищих профессоров, и бездомных музыкантов, и «вылинявшие перышки буржуазной культуры» – ясно, что альтернатива этому, пусть жестокая, пусть не обходящаяся без насилия, должна в любом случае приветствоваться. Эмигрантский опыт для многих был оправданием советских мерзостей. Вряд ли Горький не отличал правду от лжи – скорее он был готов мириться с такой правдой.

В общем, история вполне в его духе: а был ли мальчик? Может, мальчика-то и не было? Но массовое сознание так устроено, что мальчик нужен, и вычеркнуть его из горьковской биографии уже нельзя.

А ведь в Соловках было на что посмотреть в смысле формирования нового человека. Там были прекрасные новые люди, умудрявшиеся не только выживать, не стуча и не сгибаясь, но и свои поэты, и свои мыслители… Скажем, Юрий Казарновский, чьи пародии публиковал даже выходивший на Соловках журнал заключенных – «Новые Соловки», вполне официозный. Объяснить публикацию этих стихов в 1930 году невозможно – поистине, такая свобода могла быть представима только в лагере особого назначения; но там, вероятно, эти пародии воспринимались как насмешка над собой, как свидетельство перековки. А стихи отличные – вот, например, как описал бы Соловки Александр Блок:

По вечерам над соловчанами
Весенний воздух мглист и сыр.
И правит окриками пьяными
Суровый ротный командир.

А там за далью принудительной
Над пылью повседневных скук
СЛОН серебрится упоительный
И раздается чей-то «стук».

А дальше, за постами самыми, —
Касаясь трепетной руки,
Среди канав гуляют с дамами
Рискующие остряки.

И каждый вечер омрачающим
Туманом полон небосклон,
И я опять неубывающим

Остатком срока оглушен.
А рядом, у дневальных столиков,
Проверок записи торчат,
И ротные, противней кроликов,
«Сдавайте сведенья» кричат.

И каждый вечер
В час назначенный,
Иль это только снится мне,
Девичий стан,
Бушлатом схваченный,
В казенном движется окне.

И медленно пройдя меж ротами,
Без надзирателя – одна,
Томима общими работами,
Она садится у бревна.

Вот где сверхлюди – такое писать на общих работах. Но Горькому этого журнала не показывали, да и опубликовано это год спустя после его визита на Соловки. 21 июня он оттуда отбыл в Мурманск.

7

С легендой об антисталинизме Горького придется проститься, как бы ни было грустно, – но ведь, с другой стороны, признавая этот антисталинизм, мы навешали бы на Горького гроздь не свойственных ему грехов вроде лицемерия, непоследовательности и элементарной нечестности. Горькому, может быть, и не были свойственны черты типичного пролетария, каким он его изображал, – решительность, безукоризненное классовое сознание, беспощадность к классовому же врагу, – но одной чертой своих героев, а именно прямотой, он обладал в полной мере. Хитрить ему никогда не нравилось и редко приходилось, он испытывал даже некое удовольствие от того, что говорил людям резкости. Ленинское влияние и фактическое всевластие в партии его не останавливало ни в 1912, ни в 1918 годах. Если бы что-то настораживало его в тридцатые, он сказал бы об этом – у нас нет ни одного факта, который доказывал бы горьковское двуличие. Больше того: в такие минуты инстинкт самосохранения изменял ему начисто, в январе 1905 года он нагрубил самому Витте, в 1920 году не побоялся вступить в конфронтацию с Зиновьевым – единственным партийцем, с которым Ленин был на «ты»; если к кому и приложимы пастернаковские слова «Я не рожден, чтоб три раза смотреть по-разному в глаза» – так это к Горькому. В чем тут дело – в свойствах личности или в упомянутом Ходасевичем нежелании «портить биографию», – сказать трудно, да это и слилось в горьковской практике: что он делал ради биографии, а что по зову сердца – не поймешь. Однако все его декларации тридцатых годов, все статьи о несдающемся враге, все славословия Сталину стопроцентно искренни – поскольку вся его позиция отличается цельностью, а мировоззрение не меняется за последние сорок лет жизни. Разве что большевики после кратковременного охлаждения стали вновь казаться ему силой созидательной и позитивной – но здесь он двигался в русле так называемого сменовеховства, политического движения, первым увидевшего в коммунистах будущих строителей красной империи.

В том-то и дело, что никто не гнал Горького в Россию. Никто не пугал его репрессиями. Версия о том, что Буревестник запуган, что пролетарский классик связан по рукам и ногам, – широко ходила не только в перестроечные, а и в оттепельные годы, когда сложили анекдот.

– Алексей Максимович! – (Это произносится с грузинским акцентом). – Когда-то вы уже написали очень своевременную

книгу – роман «Мат». Не кажется ли вам, что сейчас самое время написать не менее своевременный роман «Атэц»?

– Я пОпытаюсь, Иосиф Виссарионович, пОпытаюсь…

– А ви попытайтесь, попытайтесь. Попитка ведь не питка, не так ли, товарищ Берия?!

Но никто не уговаривал, не склонял и тем более не пытал. В разгар перестройки на телеэкраны вышел чудовищный биографический сериал «Под знаком скорпиона», в котором Сталин напрямую угрожал Горькому, хамил ему, шантажировал писателя и вообще вел себя как средней руки рэкетир на стрелке в московском ларьке. Обида в том, что Сталина сыграл замечательный Игорь Кваша, а Горький стал последней ролью превосходного псковского актера Валерия Порошина. «Я тебе даю жрать из корыта ЦК!» – кричал Сталин. «Выблядок! Уголовник!» – восклицал в ответ Горький – по меткому выражению критика Виктора Матизена, вспоминая «босяцкое прошлое». Ну, да в перестройку снималась и не такая ерунда. Не в картине дело, а в том, что соблазн представить Горького противником Сталина был в самом деле очень силен: не мирится русское сознание с тем, что большой – действительно большой, всемирно знаменитый – писатель живет в эпоху террора и горячо его одобряет. А ведь Горький в эту эпоху жил – нельзя же всерьез утверждать, что сталинский террор начался в 1937 году! У Нины Берберовой – женщины исключительно трезвой – встречается даже версия о том, что Сталин специально ждал смерти Горького, чтобы развернуть массовые репрессии; но тогда непонятно, почему он ждал еще год? Ведь так называемый Большой террор начался с ареста и уничтожения Тухачевского и еще нескольких десятков высших военных руководителей – в мае 1937 года. Утверждение, что Горький непременно вступился бы за хорошо ему известных партийцев – таких, как Бухарин или Рыков, – тоже, к сожалению, ни на чем не основано. Репрессии против Каменева и Зиновьева начались не в 1937, а в 1934 году, при его жизни, и Зиновьев обратился к Горькому со слезным письмом еще в 1935 году, но никаких последствий из этого не проистекло. Больше того: Горький вообще очень мало за кого заступался, вопреки легенде. В 1918 году и до самого отъезда – хотя все реже – он действительно пытался, чаще всего успешно, вырывать интеллигентов из чекистских лап; но в тридцатые годы известно лишь несколько его просьб, всегда очень деликатных и осторожных, и всегда это заступничество касалось не партийных вождей, а лично ему известных, биографически близких персонажей, большой роли в судьбе страны не игравших. Не забудем и о том, что Зиновьев и Каменев не только не были

друзьями Горького – он считал Зиновьева личным врагом, никогда не питал дружеских чувств к Каменеву, во многом не соглашался с Бухариным (с его докладом на I съезде советских писателей там же полемизировал в открытую, запрещая преувеличивать роль Маяковского, – он вообще перестал критиковать Маяковского только после того, как Сталин в резолюции на письме Лили Брик назвал его лучшим, талантливейшим и – за отсутствием готовых на это живых – произвел мертвого в главные поэты эпохи). Так что ожидать, что он вступился бы за Зиновьева, Каменева или Бухарина, – практически невозможно: слово «троцкист» было для него несмываемым клеймом, а степень популярности Троцкого среди партвождей он помнил отлично. И хотя прямых высказываний о Троцком у него немного, да и в жизни они почти не пересекались, – после высылки Троцкого в 1927 году он отзывается о нем исключительно гневно, ни на секунду не подвергая сомнению партийную линию на расправу с оппозицией.

Нет ни одного свидетельства о том, что Горький отводил расправы или добивался смягчения участи «врагов народа»; напротив – известны его пылкие открытые письма с призывами к решительным расправам, а также обращения к западной интеллигенции, защищающей, оказывается, не права человека, а конкретное право человека на вредительство. И в репрессивных своих требованиях Горький бывал весьма убедителен – потому что искренне полагал (или успешно себя убедил), что сталинизм является единственной альтернативой фашизму. В какой-то мере так оно и было. А улучшать и совершенствовать этот сталинизм, придавая ему человеческое лицо и европейский лоск, он считал себя не вправе, да и вряд ли полагал это нужным. Ведь страна изнемогает в фашистском окружении! Для него, как и для большинства европейских интеллигентов, вопрос в тридцатые стоял так: либо разъярившиеся от собственной обреченности, готовые на все империалисты и их передовой отряд, германские и итальянские фашисты (за ростом популярности фашизма в Италии он мог наблюдать лично – его там не трогали, свободы не стесняли, но Муссолини, понятное дело, его симпатий не вызывал), либо Россия, с ее ошибками и пороками, но и с небывалым экспериментом, запускающим историю с нуля. И в пространстве этого небывалого эксперимента ему отведено свое место – он защищает культуру, отбирая лучшее из старой, помогая строить новую, отрезая лишние побеги и выпалывая сорную траву, как мудрый садовник. Себя он считал достаточно компетентным, чтобы судить о том, что нужно массам, ибо из этих масс вышел и во всех прочих колхозниках и пролетариях

СССР подозревал такую же дикую жажду знаний и любовь к информации. Какой тут может быть выбор? Любой, кто хоть на секунду усомнился в великих достижениях СССР, – играет на руку фашизму, и третьего не дано. А немногочисленные, сохранившиеся в воспоминаниях современников обмолвки насчет того, что «обложили старика», заперли, никуда не пускают, – были обычным брюзжанием, давно входившим в его имидж. Возможностями он обладал серьезными, влиянием – несомненным, и если бы ему действительно любой ценой нужно было поднять голос против происходящего – он нашел бы шанс это сделать, тем более что иностранцы посещали его постоянно. Но и Роллан, и Уэллс, рассказывая о встречах с ним в тридцатые, характеризовали его как законченного сталиниста.

8

Что касается его заступничества, то здесь он вел себя типичным Лукой из собственной позднейшей характеристики: утешал, чтобы не тревожили его душевного покоя. Обратился к нему, например, Платонов с просьбой помочь в публикации «Чевенгура». Он ответил ему ободряющим письмом – «Все минется, одна правда останется», – но для публикации главного платоновского романа палец о палец не ударил. И с работой, и с публикациями ни разу ему не помогал. Больше того, в благом деле оправдания репрессий он действовал с некоторым даже опережением. Скажем, статья 1934 года «О хулиганах» подкосила биографии Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова – поэтов исключительного таланта: первым двум она стоила жизни, третьему – двух сроков. Можно сколько угодно строить догадки – мол, и без Горького они доигрались бы, – но факт тот, что первым против них в печати выступил именно он, и поводом для этого выступления послужили их довольно невинные даже по тогдашним временам забавы; были, конечно, и дебоши, и пьяные драки, но с отчаяния чего не сделаешь, в безвоздушном пространстве как еще разгонять тоску? Именно после горьковской статьи Васильева и Корнилова взяли в серьезную разработку, и нюх на таланты ему здесь не изменил – в молодой советской поэзии тридцатых они были действительно лучшими. А его борьба за чистоту языка – против Гладкова и Панферова, против старика Серафимовича? Конечно, это были литературные дискуссии, не более, – но в дискуссиях этих он выступал с церберских охранительных позиций, да ведь и литературные споры стали в те времена небезобидны! Нивелируя язык, ратуя за его правильность, он формально боролся за общедоступность литературы, но на деле-то чесал ее под одну гребенку; борясь с местными речениями и языковой фальшью – выступал против того немногого, что хоть как-то, пусть коряво, возвышалось над ровной поверхностью благонамеренной культуры!

Кому он помогал из молодых? Чьи были эти десятки рукописей, которые он беспрерывно и самоотверженно просматривал? Приходится признать, что на девять десятых это были сочинения авторов самодеятельных, непрофессиональных, либо дебютирующих в литературе, либо так ничего и не сотворивших со времен дореволюционного дебюта. Бытовые рассказы, автобиографии, ценные только для архивов свидетельства об участии в революции или Гражданской войне…

Читал он кое-кого из профессионалов, например Леонова, – но уж его письмо о «Дороге на океан», одном из главных леоновских романов, книге сложной, зрелой, тщательно зашифрованной, – являет собою какой-то верх непонимания и недоброжелательства. Множество языковых придирок – это уж у него теперь всегда, – и главное, абсолютная глухота относительно сложной и полифоничной структуры леоновского эпоса. То же страстное и необъяснимое желание свести все к простоте, к линейности… Нет никаких свидетельств о его помощи Бабелю, Олеше, Пастернаку, который прямо обратился к нему с просьбой о помощи – надо было переиздать «Охранную грамоту», уже выходившую в «Звезде», включить ее в том прозы, но поскольку вещь подверглась критике как идеалистическая, перепечатывать в 1933 году то, что чудом проскочило в 1931, уже не дозволялось. Горький ничем не помог. Мог ли? Вероятно, мог. Но Пастернак был ему чужд – и эстетически, и социально. Единственный, кому Горький реально поспособствовал, – Михаил Зощенко, из бывших «Серапионов», но и тут помощь была такого странного свойства, что не знаешь, на что ее списать: на злую насмешку или на полное непонимание природы зощенковского таланта. Горький продолжал носиться с идеей просвещения, популяризации знаний – и предложил Зощенко поставить свое уникальное умение писать языком победившего мещанства на службу просвещению, то есть написать книгу для пролетариев и крестьян их нынешним языком, и чтобы в этой книге была вся мировая история с ее жестокостями и чудесами. Зощенко взялся за эту работу вполне искренне – в начале тридцатых он находился на распутье, высмеивать и отрицать не хотел, хотел утверждать и славить, – но будучи писателем исключительного ума, он не мог, конечно, не понимать, что у него получается. «Голубая книга» – страшный документ о перерождении языка, хроника его мутации: пересказ главных событий мировой истории языком коммунальной кухни наглядно показал стране, куда она прикатилась. Книга выглядела страшным глумлением над всеми святынями, в прославление которых была написана. Вступительное письмо к Горькому и посвящение ему спасло этот уникальный сборник, но, думается, даже и до Горького дошло, какой страшный итог получился у младшего коллеги.

Горький отлично представлял меру булгаковского таланта, но когда бездари травили большого писателя – скажем, во время снятия «Мольера» в 1934 году, – не сказал в его защиту ни слова. Не помогал он ни Ахматовой, ни Мандельштаму, не вступался во время проработок ни за Шкловского, ни за Тынянова. Единственный раз, когда он выступил в защиту критикуемого

писателя, – это когда в 1932 году стали травить и упразднять РАПП и он написал Сталину письмо о Леопольде Авербахе – страшном, наголо бритом фанатике, инициаторе бесчисленных проработочных кампаний, пытавшемся превратить литературу в единый боевой лагерь, состоящий из бездарных авторов с безупречным происхождением. Горький вступился: да, у товарища были ошибки, но товарищ по-настоящему любит литературу. О том, как сильно Авербах и его товарищи любили литературу, всякий может узнать, ознакомившись с подшивкой журнала «На посту», где большинство литературных разборов кажутся написанными либо помелом, либо кистенем. Авербах погиб в 1938 году, и на смену ему в руководстве писателями пришли люди вовсе уж беспринципные, – но любовь Горького к этому душителю российской словесности весьма показательна. Могут сказать, что он его пожалел по-человечески, – но вот Булгакова он по-человечески не жалел. Да и единственное его выступление двадцатых годов, посвященное защите писателей от официальной травли, относится к 1929 году, – это была статья «О трате энергии», появившаяся в «Известиях» в сентябре. В ней он мягко, осторожно защищает любимого им Замятина и нелюбимого Пильняка от кампании, начатой в конце двадцатых против последних прозаиков, надеявшихся в Советской России сохранить независимость и даже дерзость. Поводом послужила заграничная публикация пильняковского «Красного дерева» и – задним числом – замятинского романа «Мы». Но и статья Горького с весьма сдержанной защитой двух безусловно талантливых литераторов вызвала новый взрыв ругани – теперь уже против Горького; его ответ «Все о том же» в печати не появился, и он, видимо, сделал для себя выводы. С тех пор он никогда – подчеркнем это – не выступал публично в защиту того или иного литератора от партийной критики. Быть может, он просто не желал напрасно подставляться, желая сохранить влияние, – но для чего ему было нужно это влияние, история умалчивает. Пользовался он им исключительно тогда, когда чувствовал, что его намерение совпадает с линией партии, – сколь ни горько это признавать.

9

В своей статье 1934 года «Литературные забавы», где языковые ошибки – а зачастую и метафоры – прямо приравниваются к фашизму, Горький формулирует свое кредо тридцатых годов в сильных и предельно ясных выражениях. Странно, что по этому поводу еще возникают споры: сам человек все сказал, и это его стилистика была подхвачена потом в тысячах разоблачительных, а то и просто погромных статей.

> *«Вот – мерзавцы убили Сергея Кирова, одного из лучших вождей партии, образцового работника в деле возрождения пролетариата и крестьянства к новой жизни, к строительству социалистического общества, – убили человека простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был именно таким хорошим – и страшным для врагов. Убили Кирова – и обнаружилось, что в рядах партии большевиков прячутся гнилые люди, что среди коммунистов возможны „революционеры“, которые полагают, что если революция не оканчивается термидором, так это – плохая революция. Слышат ли убийцы, как в ответ на их идиотское и подлое преступление рявкнул пролетариат Союза Социалистических Советов? Убили Кирова – и обнаружилось, что враг непрерывно посылает в нашу страну десятки убийц на охоту за нашими вождями, для истребления людей, энергия которых преобразует мир. Враг торжествует: еще одна победа!*
>
> *Не удалось убить Димитрова – убили Кирова, собираются убить Тельмана и ежедневно, всюду убивают сотни и тысячи отважнейших бойцов за социализм. Вместе с этим готовятся к новой международной бойне, которая истребит миллионы рабочих и крестьян. Бойня эта нужна только для того, чтоб те лавочники, которые – силою вооруженного пролетариата и крестьянства – победят, могли отнять из-под власти побежденных лавочников часть земли и населения, чтобы на отнятой земле торговать «безданно, беспошлинно» продуктами труда своих нищих рабочих и крестьян, чтобы бессмысленно, для личной наживы, истощать сокровища чужой земли и рабочую силу завоеванного населения. Все более и более очевидна неоспоримость учения Маркса: «Какими бы словами ни прикрывалась политика*

буржуазии – на практике она всегда убийство в целях грабежа».

Но также бесспорно и очевидно, что революционное правосознание пролетариата всех стран быстро возрастает и что мы живем накануне всемирной революции. Могучий и успешный труд пролетариев Союза Советов, создавая на месте царской нищей России богатое, сильное социалистическое государство, делает свое великолепное дело, показывая пролетариату всей земли, что коллективный свободный труд на фабрике и в поле создает чудеса. Умное, зоркое руководство ленинского ЦК во главе с человеком, который поистине заслужил глубочайшую любовь рабоче-крестьянской массы, – это руководство не только «со скрежетом зубовным» признается, но и восхищает, а – того более – устрашает капиталистов. Восхищение, конечно, не мешает росту звериной злобы лавочников. И, разумеется, банкиры, лорды, маркизы и бароны, авантюристы и вообще богатые жулики будут покупать и подкупать убийц, будут посылать их к нам для того, чтобы ударить в лучшее сердце, в ярчайший революционный разум пролетариата. Все это – неизбежно, как неизбежны все и всяческие мерзости, истекающие из гнойника, называемого капитализмом. Но против этого гнойника, все яснее освещая его отвратительное, тошнотворное, кровавое паскудство, встает и растет уже непобедимое. Не стану перечислять событий этого года, они всем известны. Восемнадцатый год диктатуры пролетариата – год исключительно мощной концентрации пролетариата и колхозного крестьянства. Выборы в Советы знаменуют глубину и высоту культурно-революционного роста масс».

Ну и так далее, в том же громыхающем, громокипящем духе. Что непонятно? О чем спор? Потом в стилистике этого «отвратительного, тошнотворного, кровавого паскудства» будут составляться бесчисленные расстрельные письма, письма с одобрениями массовых арестов и расправ. Горький не просто не возражал против этого режима – он дал ему логику, лексику, выдумал универсальное обоснование, и этот его путь вполне логичен: он был не из тех, кто изменяет своим принципам, и всякая перемена личных взглядов давалась ему мучительно. Как он решил в двадцатых, что нет силы, кроме большевиков, которая была бы способна спасти Россию, – так с этой платформы никуда и не сдвинулся. Это достойно не только порицания, но и

уважения, – не будем же лукавить.

10

Он был уже священной коровой, и покритиковать его в печати было немыслимо. Те, кто пытался возражать на его собственную ругань, – Белый, ошельмованный им за блестящий роман «Маски», те же Серафимович, Панферов, Васильев – прежде всего благодарили за критику и только потом лепетали оправдания. Правда, есть в советской литературе один замаскированный, но весьма сильный выпад против него; удар нанесли отважные Ильф и Петров в 1931 году, в предисловии к «Золотому теленку».

«– Скажите, – спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, – скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?

После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.

– Смеяться грешно! – говорил он. – Да, смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!

– Но ведь мы не просто смеемся, – возражали мы. – Наша цель – сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.

– Сатира не может быть смешной, – сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.

Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А паразиты никогда!»

Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин наденет паранджу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма».

Горький тут узнается во всем: и в шеститомном романе о революции (авторы утрируют, он писал четырехтомный, но про скучные слова не говорил тогда только ленивый, даже Безыменский высунулся с эпиграммой: «Клим Самгин» неплохая штука, но боже мой!»). И в том, что сам Горький признал советскую власть позже многих, кого теперь критиковал. И в том, что почти сразу по возвращении в СССР сказал: мы много говорим о своих недостатках, но мало и плохо – о наших достижениях. Даже придумал журнал «Наши достижения», где и публиковал собственные вполне аллилуйные очерки. И уж конечно, горьковские пролетарии действительно больше похожи на

кустарей-одиночек (а тема баптистов и прочих сектантов ему традиционно была близка – как раз незадолго до «Теленка» вышла третья часть «Самгина» с огромной сценой хлыстовских радений). Конечно, это весьма острая шпилька, да еще с намеком на старые горьковские грехи, – но ведь и Горький со своими беспрерывными восхищениями «этими сдвигами» успел надоесть людям, которые наблюдали жизнь и сдвиги не из окна автомобиля, а ощущали непосредственно шкурой. Те же Ильф и Петров прожили в Одессе и Москве голодные и кровавые послереволюционные годы и уж как-нибудь знали о реконструктивном периоде побольше строгого гражданина. Этот выпад был хорошо зашифрован – предисловие спокойно переиздавалось до 1946 года, пока переиздания дилогии о Бендере специальным постановлением не были признаны политически ошибочными.

11

В тридцатые Горький вновь активно занялся драматургией. Только теперь становится понятно, что его театр – по преимуществу агитационный, пропагандистский, что к драме он обращается не тогда, когда ему надо разобраться в себе или реформировать жанр, а тогда, когда нужно срочно что-то объяснить массам в максимально доходчивой форме. Удачи у него здесь возникают скорей случайно – когда автор имел в виду что-нибудь простое и прагматичное, а получилось у него, в силу таланта, неоднозначное и будящее мысль. Пьесы тридцатых годов, за исключением «Булычова», не представляют собою ничего выдающегося, хотя на советской сцене они держались долго.

В «Егоре Булычове и других» – из этой пьесы Сергей Соловьев впоследствии сделал еще и очень неплохой фильм с Михаилом Ульяновым в главной роли – по крайней мере есть что играть: не старый, крепкий купец-миллионщик смертельно болен и не желает мириться с биологической обреченностью, в которой, впрочем, слишком проглядывает классовая. Эта смертельная болезнь сильного человека – так же, как и гибель Игната Гордеева и Ильи Артамонова, – выступает метафорой его роковой неуместности в мире ничтожеств, погибшей силы, направленной не на то. На что ее надо было направить Фоме Гордееву, сыну Игната, – Горький еще не понимал; в двадцатые годы, сочиняя «Дело Артамоновых», он уже отлично видел – или полагал, что видит, – альтернативу артамоновскому «делу»: большевизм – вот куда надо идти человеку сильному и цельному. «Егор Булычов» – вечная горьковская коллизия: сильный и обаятельный герой, пропадающий ни за что. Правда, герои, занятые правильным делом, у Горького почему-то всегда необаятельны: о Павле Власове сказать нечего, правоверный большевик Кутузов из «Жизни Клима Самгина» решительно ничем не запоминается читателю, а в «Егоре Булычове» главному герою и вообще никто не противостоит. Горький и рад бы вписать туда революционера, но вся художественность, вся изобразительная сила ушла на Булычова, и революционер тут, по большому счету, не нужен: «Булычов» – драма не борьбы, а обреченности. Действие происходит вскоре после начала Первой мировой войны, Булычов отлично понимает, что война – ошибка, и притом такая, от которой империя неизбежно погибнет; предчувствие собственной гибели накладывается на неумолимые эсхатологические догадки. Как ни странно, «Булычов», написанный в 1930–1931 годах, по

большей части в Сорренто, – автобиографическая, едва ли не исповедальная вещь, и в этом смысле единственная: прочие сочинения тридцатых годов идеологичны насквозь. Булычов почти дословно повторяет слова Горького о том, что плоха медицина, не умеющая справиться со смертью. Здесь опять звучит старая тема, впервые намеченная еще в «Девушке и смерти»: как так – общая участь?! Этого не может быть! Горький всегда был болезненно озабочен тайной умирания, написал об этом одну из лучших своих зарисовок – короткую новеллу «Умирание» 1919 года, в которой описал, как у него на глазах, в кухне, тесной и полной тараканов, в полном сознании умирает умный и трезвый человек, и у рассказчика, присутствующего при его последних минутах, не находится ни одного утешения, ни одного слова, которое не показалось бы оскорбительной фальшью рядом с такой окончательной истиной, как смерть. Это вглядывание в предел, за которым, по твердому горьковскому убеждению, ничто, а вместе с тем и окончательного «ничто» он допустить не хочет, потому что иначе все обессмысливается, – составляло предмет его неотступных размышлений, столь болезненных, что даже и в прозу он старался эти мысли не допускать. Мучительное неприятие смерти могло со стороны показаться трусостью, а у Горького ведь не трусость – у него, если угодно, онтологический, бытийственный спор с мироустройством. Видимо, эта же сосредоточенность на тайне смерти и бессмертия привлекала его в Толстом, и не зря, объясняя причины этой толстовской сосредоточенности, он в чем-то пробалтывался и о себе: как это – я, и умру?! Я, вмещающий столько, столько помнящий и умеющий! «Егор Булычов» формально – история про обреченное царство и обреченного человека в нем, а по сути – вопль протеста против собственной участи. Именно поэтому тут никакой революционер и невозможен: с социальным-то строем он справится, а с биологическим законом что сделает? Именно отсутствие положительного революционера, заметим, делает «Булычова» одной из самых точных пьес о гибели империи: не большевики ее погубили, их роль пренебрежимо мала – она пала сама. Именно поэтому Горький категорически запретил вахтанговскому постановщику пьесы, Борису Захаве, использовать найденный им финал, в котором за окном поют «Марсельезу», как бы отпевая Булычова и приветствуя новый мир. Этот финал, обиженно замечает Захава, всем в театре очень понравился. Но Горький отверг его категорически – пьеса не про «Марсельезу», а про то, что весь мир непоправимо сдвинут, нет вокруг ни одного надежного, умного и просто порядочного человека. И это тоже показательно: обреченному не поможет никто, надеяться не на

кого, каждый умирает в одиночку. Все это делает «Булычова» сильной пьесой – может быть, сильнейшей из написанных в СССР в тридцатые годы, до леоновской «Метели»; но Горький, сам испугавшись художественного результата, срочно приписал к «Булычову» вторую часть – пьесу «Достигаев и другие», где уже вовсю действует большевик Рябинин, а в финале появляется Бородатый солдат. Пьеса заканчивается обыском – это, кстати, характерное явление для тогдашней драматургии: обыск и арест в финале «Зойкиной квартиры» Булгакова, арест и обыск в финале «Сомова и других» (эту пьесу Горький не дал ни в печать, ни на сцену), ну и «Достигаев» венчается обыском, причем авторская характеристика Бородатого солдата в разговоре с вахтанговцами, репетирующими пьесу, весьма любопытна.

> *«Его надо сделать отчетливо. Он эпический солдат. Черт его знает, чего он не видел на своем веку: он не то что понял что-то, но он почувствовал, всем своим существом почувствовал: „Вот что надо делать!“ Это типичный человек того времени. Он понял: „Вот что надо делать – надо хозяев убивать всех“; и вот пришел убивать. Собственно говоря, ему люди эти – и даже его старый хозяин – сами по себе безразличны. Это был такой тип, время таких очень много образовало. Так что он такой спокойный, эпический человек. Он говорит чуть-чуть с маленьким юмором… Это какой-то массовый человек, палец чьей-то руки. Ему особенно беспокоиться, особенно говорить не нужно; он говорит спокойно. Он злорадствовать не будет, но и жалеть не будет. Если нужно, то и сам расстреляет».*

Как хотите, а в этой характеристике слышится ужас. Горький действительно много повидал таких человеков с ружьем в 1917–1919 годах и отлично знал их деланое равнодушие, эпическое спокойствие, легкость расправ… Триумфальное пришествие нового мира обставлено у Горького шуточками Бородатого солдата – и потому финал «Достигаева» никоим образом не внушает исторического оптимизма. Горький не оставлял надежды как-нибудь так показать обреченность купеческого класса, чтобы она стала действительно очевидна, чтобы у сильного и властного героя появился внятный антипод, – но даже переделка «Вассы Железновой», пьесы 1910 года, в которой зверство Вассы усилено и педалировано, не выполняет этой задачи: кроме Железновой, сильных образов в пьесе нет. Горький вписал туда революционерку Рахиль, сноху Вассы, – но революционерка, как обычно, вышла на редкость неубедительная. А сама смерть Вассы

от паралича сердца остается искусственной развязкой, ничего не объясняющей и не меняющей: Горький, как-никак, был реалистом – в том смысле, что понимал логику реальности. Если русское купечество и было обречено, то потому, что соотношение между людьми способными, сильными – и слабыми, лживыми, зачастую просто душевнобольными было примерно один к двадцати, как и в списке горьковских действующих лиц. Васса, конечно, не перл создания, но те, кто ее окружает, – вовсе никуда не годятся. Не случайно во времена торжествующего советского феминизма, сильных женщин и слабых мужчин, именно к этой пьесе почти одновременно обратились кинорежиссер Глеб Панфилов и театральный реформатор Анатолий Васильев: фильм «Васса» 1983 года и спектакль «Васса Железнова. Первый вариант» (1978) были важными символами эпохи. У Панфилова Вассу играла Чурикова, у Васильева – Никищихина, обе точно изображали трагедию силы и обреченности, хотя панфиловская Васса была существом умным и в чем-то жертвенным, а у Никищихиной преобладала жестокость, которую Васильев отнюдь не склонен был оправдывать. Интересно, что идеи оправдания русского капитализма, восторг перед купечеством и прочие приметы постперестроечной реальности явили себя в спектакле МХАТа имени Горького 2004 года, где Вассу играла Татьяна Доронина: она и вовсе попыталась сделать ее ужасно милой, что, конечно, не способствовало художественному результату.

12

Особняком в горьковском творчестве стоит пьеса «Сомов и другие» – драма, посвященная процессу Промпартии и «Шахтинскому» делу, первым советским публичным процессам, на которых обвиняемые признавались во всем и получали смертные приговоры, заменяемые покамест различными сроками; это были процессы над научно-технической интеллигенцией, в основном из числа старых «спецов», и задача их была – срочно найти «вредителя», на которого легко списать все неудачи в народном хозяйстве (а неудач хватало – голод, катастрофическое падение производительности труда, отсутствие нормальных стимулов на производстве). Требовался, во-первых, виновник, а во-вторых, страх. Горький писал Леонову 11 декабря 1930 года, что читал газетные отчеты о суде, «задыхаясь от бешенства». Ясно, что ненависть была направлена на врагов народа, названных в том же письме «подлецами», а никак не на режиссеров показательного процесса; именно в 1930 году Горький с особенной яростью обрушивается на западных интеллигентов, пытающихся защитить своих российских коллег и указывающих на явные нестыковки в тезисах обвинителей. Горький, в отличие от западных борцов за права человека, безоговорочно поверил всем обвинениям и тут же принялся работать над агитационной пьесой. Наиболее любопытен в ней именно образ вредителя Сомова – это завершение важной линии горьковского творчества. У нашего правоверного ницшеанца встречаются два типа сильных личностей, намеченных, как мы говорили, еще в «Старухе Изергиль»: это Данко, жертвующий собою для людей, и Ларра, людей презирающий. Ницшеанство бывает хорошее и плохое. Когда герой-одиночка спасает людей, творит шедевры, испытывает любовную страсть – он вызывает авторское восхищение; когда он высокомерен и на каждом шагу самоутверждается, полагая всех прочих мыслящим тростником, – автор его решительно осуждает и всячески отмежевывается. Сомов – как раз ницшеанец второго типа, презирающий людей (заметим, что ницшеанцы-убийцы, ницшеанцы-безумцы у Горького чаще всего интеллигенты, а положительные сверхчеловеки – обычно либо босяки, либо, в позднейшую эпоху, большевики). Сомов сделался вредителем не только из-за обиды на советскую власть – это скорее мотив его матери, Анны, жалеющей о старых временах; Сомов руководствуется не личной местью, не политикой, не эстетическим отвращением к советским манерам и вкусам, а чрезмерной, гипертрофированной жаждой

славы и самоутверждения. Ему кажется, что он прозябает; нет истинного дела, подлинного дерзания. Он становится вредителем потому, что это единственный доступный ему способ подняться над массой, – но масса устами старых рабочих Крыжова и Дроздова разоблачает вредителя и спасает завод. Образ человека, испытывающего границы собственной власти и тщетно пытающегося расслышать окрик собственной совести, – для Горького опять же не нов: стоит вспомнить провокатора из рассказа «Карамора». Сомов – персонаж, которому тщеславие и жажда самоутверждения заменили совесть; жена Лидия обзывает его фашистом, потому что фашизм, в понимании Горького, как раз и начинается с высокомерия. Внутренне эта концепция очень стройна, и единственный ее порок в том, что с действительностью она не имела ничего общего: Сомов – персонаж вымышленный, умозрительный. Демонический Сомов – горьковская не особенно удачная попытка оправдать для себя показательные процессы, выдумать мотивацию для вредителя; поскольку никакого вредителя не было в природе, если не считать вредительницей советскую власть, – художественная убедительность драмы оказалась на нуле: несмотря на дружные восторги слушателей, главным образом из семейного и дружеского круга, – Горький от публикации и постановки «Сомова и других» отказался. Это делает честь его интуиции – не то до «Чужой тени» Константина Симонова на советской сцене могла бы появиться пьеса о вредителях, считающих себя недооцененными, и отважных, но вежливых чекистах, обещающих немедленно разобраться, что к чему.

13

Однако агитационная деятельность Горького, разумеется, далеко не сводилась к театральной. Никогда в жизни не было у него такого объема оргработы, как в СССР в тридцатые годы, особенно сразу после окончательного (в 1932) переезда в Союз Советов. Больше всего он носился с двумя своими навязчивыми идеями: первая – книжные серии, в которых пролетариату излагали бы в доходчивом виде историю мировой культуры, Гражданской войны, фабрик и заводов (последняя инициатива – самая необъяснимая: кому нужна история фабрик и заводов?! Кто будет о ней читать, особенно если работает на этих заводах и фабриках?!). Коллективный писательский подряд необходимо было внедрять, по мысли Горького, хотя бы потому, что на внедрении коллективного труда стояла вся советская мифология, сельское хозяйство подверглось коллективизации, так пора и литературу коллективизировать, как он уже пытался когда-то в «Знании»! Привлечь лучших, раздать задания, разбить историю на главы, каждому вручить по главе – знай пиши! Такой опыт уже был в «Сатириконе», и вполне удачный, но тут-то все было всерьез! Преимущество у такого образа действий было ровно одно: писателю давали заработать. Но необходимость знакомиться с фабрично-заводскими архивами, выслушивать рассказы пролетариев, описывать жизнь удалых купцов, талантливых, но исторически обреченных… Реконструировать историю большевистской агитации на фабриках, перелистывать ломкие желтые страницы большевистской прессы, подгонять стилистику под слезливо-пафосную «Мать»… О, как все это вязло в зубах, как невозможно было ни писать, ни читать эту фабрично-заводскую историю! – а ведь талантливые люди мучились, смертельно больной Вагинов ездил на фабрику, производящую электрические лампочки… Мария Шкапская описывала историю ивановского текстиля – Горький умер, серия прекратилась, рукопись так и осталась ненапечатанной… Были у него и более удачные проекты – «Библиотека поэта», существующая поныне; «Жизнь замечательных людей» (тоже процветающая); «История молодого человека»… Он же придумал издательство «Academia» – новую, усовершенствованную версию «Всемирной литературы»… Все тот же коллективный писательский труд породил и лично Горьким задуманную и отредактированную книгу о строительстве Беломорско-Балтийского канала – первую стройку социализма, на которой использовался исключительно труд заключенных. Причем уголовные и политические составляли уже примерно

равные доли – шел 1933 год. Сам Горький, посетив строительство в составе возглавляемой им группы лояльных литераторов, обратился к чекистам с нежными словами: «Черти драповые! Вы сами не понимаете, какое великое дело тут делаете!» И прослезился – он это хорошо умел.

Книга вышла в свет 20 января 1934 года и была посвящена только что открывшемуся XVII съезду партии – впоследствии он получил название «Съезд победителей»; две трети этих победителей были потом репрессированы – за то, что Киров на съезде чуть не обогнал Сталина по числу голосов при избрании генсека. Соредакторами книги были Горький, а также низвергнутый, но еще не репрессированный вождь РАППа Леопольд Авербах; с чекистской стороны проект курировал Фирин. Писателей собрали около тридцати человек, некоторые – как Булгаков – отклонили приглашение. Приняли его Алексей Толстой, Николай Погодин, Виктор Шкловский, Михаил Зощенко, Александр Авдеенко, Всеволод Иванов, Бруно Ясенский, Вера Инбер… Просился и Андрей Платонов – видимо, не столько ради легализации своего положения в литературе, сколько ради действительно уникального материала, который можно было в этой поездке увидеть; его не пустили. Интересно, что книга эта была в 1937 году запрещена – двое из соредакторов были арестованы, а третий умер. Но в 1934 году она выглядела воплощением горьковской мечты – коллективный труд, знакомство с жизнью, роскошное оформление!

Писательская бригада сделалась главной единицей литературного процесса. Эти бригады – в их составе были и крупнейшие писатели эпохи, и литературные поденщики, и откровенные бездари-конформисты, – раскатывали по всей России, мешая великие дела с халтурой, бессмыслицу с подвигом, культуртрегерство с коллаборационизмом. Одни переводили с языков народов СССР бесконечные и одинаковые народные эпосы (а зачастую просто сочиняли эти эпосы): так выживали серьезные поэты, вытесненные в ниши переводчиков, – Липкин, Тарковский, Штейнберг, Шенгели, Петровых. Другие переводили грузинских, украинских, белорусских коллег, дагестанских ашугов и казахских акынов на русский язык. Третьи воспевали железную дорогу, отправляясь в агитпоезде, состав которого утверждал лично Лазарь Каганович, транспортный нарком и вернейший сатрап. Вершиной же оргработы Горького в писательской среде стало создание Союза писателей – организации несравненно более массовой, чем пресловутая Российская ассоциация пролетарских писателей, разогнанная в 1932 году. РАПП делил всех литераторов на пролетариев и попутчиков, отводя

последним чисто техническую роль: они могут обучить пролетариев формальному мастерству и отправляться либо на переплавку, то есть на производство, либо на перековку, то есть в трудлагеря. Сталин сделал упор как раз на попутчиков, ибо курс на восстановление империи – с забвением всех интернациональных и ультрареволюционных лозунгов двадцатых годов – был уже очевиден. Попутчики – писатели старой школы, признавшие большевиков именно потому, что только им оказалось под силу удержать Россию от распада и спасти от оккупации, – воспрянули духом. Требовался новый писательский союз – с одной стороны, нечто вроде профсоюза, занимающегося квартирами, машинами, дачами, лечением, курортами, а с другой – посредник между рядовым литератором и партийным заказчиком. Горький занимался организацией этого союза весь 1933 год. С 17 по 31 августа в Колонном зале бывшего Дворянского собрания, а ныне Дома союзов, проходил его первый съезд. Основным докладчиком был Бухарин, чья установка на культуру, технику и некоторый плюрализм была общеизвестна; назначение его основным оратором съезда указывало на явную либерализацию литературной политики. Горький брал слово несколько раз, преимущественно для того, чтобы вновь и вновь подчеркнуть: мы не умеем еще показывать нового человека, он у нас неубедителен, мы не умеем говорить о достижениях… Особый его восторг вызвало присутствие на съезде народного поэта Сулеймана Стальского, дагестанского ашуга в поношенном халате, в серой потертой папахе. Горький с ним сфотографировался – они со Стальским были ровесниками; вообще во время съезда Горький очень интенсивно снимался с его гостями, старыми рабочими, молодыми парашютистами, метростроевцами (вместе с писателями почти не позировал, тут была своя принципиальная установка). Отдельно стоит упомянуть нападки на Маяковского, которые прозвучали в горьковской речи: он уже мертвого Маяковского осудил за его опасное влияние, за недостаток реализма, избыток гипербол, – видимо, вражда к нему была у Горького не личная, а идеологическая. Первый съезд писателей освещался в прессе широко и восторженно, и Горький имел все основания гордиться своим давним замыслом – создать писательскую организацию, которая бы указывала литераторам, как и чем им заниматься, а попутно обеспечивала бы их быт. В собственных письмах Горького в эти годы море замыслов, советов, которые он раздает с щедростью сеятеля: написать книгу о том, как люди делают погоду! Историю религий и церковного грабительского отношения к пастве! Историю литературы малых народов! Мало, мало радуются писатели, надо веселей, ярче,

азартней! Понять этот его постоянный призыв к радости можно двояко. Может, он собственный ужас перед происходящим так забалтывал, – но ни в одном из его очерков этой поры нет и тени ужаса, ни даже сомнений в безусловном торжестве справедливости на просторах Союза Советов. Один восторг. Так что другая причина, вероятно, в том, что литература тридцатых годов так и не научилась талантливо врать – и если врала, то очень уж бездарно; Горький искренне недоумевал, видя это. Он был, как ни странно, чрезвычайно далек от жизни, которой жило большинство российских литераторов, не говоря уж о народе, о котором они писали; представления его об этой жизни черпались в основном из газет, а почта его, видимо, строго контролировалась уже знакомым нам секретарем Петром Крючковым. На это указывает посещавший Горького в 1935 году Ромен Роллан. Горький был искренне убежден, что живет в раю, и именно описаний рая требовал от молодых коллег, тщетно пытаясь заразить их своим вечно молодым азартом.

14

Мы переходим сейчас к одной из самых спорных и запутанных тем в горьковской биографии – запутанных нарочито, а на деле весьма простых. Речь идет об убийстве сначала его сына Максима, работавшего в НКВД, а затем и самого Горького. Обе эти версии, превращающие реальность в кровавую шекспировскую драму, не имеют под собой никакой почвы, даром что высказывались любителями кровавых фабул бессчетное количество раз. Сталину для процесса над троцкистско-зиновьевским блоком понадобилась версия об убийстве Буревестника неправильно лечившими его врачами. Разоблачителям Сталина потребовалась версия об убийстве Горького Сталиным – разумеется, при помощи страшного чекистского яда. Бытует также версия о том, что Горького по приказу Сталина отравила Мария Будберг, с которой у писателя с 1934 года были чисто приятельские отношения, но в СССР она продолжала наезжать и успела посетить умирающего писателя. Она-то, оставшись с ним наедине на сорок минут, якобы и дала ему то ли отравленную конфету, то ли ядовитую таблетку. Всем этим версиям несть числа, и весьма жаль, что люди, никогда толком не читавшие Горького и ничего о нем не знающие, интересуются лишь этим аспектом его богатой биографии. Случилось же вот что. На майские праздники 1934 года на даче Горького в Горках, где он обычно проводил время с мая по сентябрь, собралось множество народу, в том числе «красный профессор», советский философ, специалист по диамату и оргсекретарь Союза писателей Павел Юдин, по совместительству спортсмен, морж, любитель крепких напитков и большой друг Максима Пешкова (сближали их спортивные увлечения, автомобили и упомянутые напитки). С бутылкой коньяка они пошли к Москве-реке, бутылку эту там распили и прямо на земле заснули. Юдин проснулся, Пешкова будить не стал и пошел наверх, а Максим еще час проспал на холодной земле и на следующий день слег с воспалением легких. Может быть, его удалось бы спасти, если бы регулярно бывавшие в доме Горького профессора Плетнев и Сперанский не враждовали между собой: Максим просил позвать Сперанского, Плетнев продолжал лечить по собственному методу, а когда в последнюю ночь Максима за Сперанским все-таки послали и попросили сделать блокаду по его методу, он сказал, что уже поздно. В последнюю ночь Максима, с 10 на 11 мая 1934 года, Горький сидел внизу, на первом этаже дачи в Горках, и беседовал со Сперанским об институте

экспериментальной медицины, о том, что надо сделать для его поддержки, о проблеме бессмертия. О Максиме не говорили. Когда в три часа ночи к Горькому спустились сказать, что Максим умер, он побарабанил пальцами по столу, сказал: «Это уже не тема», – и продолжил говорить о бессмертии. Можно назвать это признаком железной целеустремленности и величия, можно – душевной глухотой, а можно – панической растерянностью перед лицом трагедии. Павел Басинский вспоминает, что, узнав в Америке в 1906 году о смерти от менингита дочери Кати, Горький пишет покинутой им жене письмо, в котором требует беречь сына и цитирует собственный, сочинявшийся тогда же роман «Мать» – о том, что нельзя бросать своих детей, свою кровь. Это уже вопиющая нравственная глухота – утешать скорбящую мать, вдобавок брошенную им ради новой жены, цитатой из собственного сочинения. Впрочем, всегда найдутся люди, которым глухота как раз и кажется признаком истинного величия, сосредоточенности на единственно важном в ущерб личному и преходящему.

Смерть Максима, однако, подкосила Горького – это был уже второй его ближайший родственник по имени Максим, причиной смерти которого он себя чувствовал, и не без оснований. Сначала он заразил холерой своего отца – и эта вина без вины стала проклятием всей его жизни, ибо губить людей вокруг себя суждено ему было и в дальнейшем. Почти все его окружение после его смерти тоже погибло, и почти все близкие к нему люди были обвинены в его гибели. Теперь, за два года до смерти, в старости, он становился причиной гибели собственного сына, тоже Максима, и тоже без вины: формально Максима погубила случайность, но на деле он чуть ли не с рождения был заложником отцовской славы и отцовского образа жизни. Он бывал у Горького на Капри, постоянно жил у него в Сорренто в двадцатые, а в тридцатые, будучи давно женат, так и не зажил отдельным домом. (Бытовала крайне нелестная для Горького версия о том, что у писателя был тайный роман с женой Максима Надей Введенской, известной под домашней кличкой Тимоша; версия эта, по всей видимости, восходит к горьковскому рассказу «На плотах». Романы с чрезвычайно обаятельной и легкомысленной Тимошей приписывались многим людям из горьковского окружения – в частности, Ягоде.) Максим всегда находился в тени отцовской славы: унаследовав от отца обаяние и артистизм, он, по свидетельству Ходасевича, оставался вечным ребенком, был поверхностен, легкомыслен, инфантилен, инстинкт самосохранения был у него снижен – он многажды попадал в аварии на горьковском автомобиле, обожая гонять на

предельной скорости, – и, в общем, ни его образованием, ни воспитанием Горький систематически не занимался. Он шутя грозился навести порядок в доме, но все это оставалось разговорами. Он чувствовал себя ответственным за беспутную жизнь и случайную, бестолковую смерть Макса – но в ней ему почудилось предвестие и собственной гибели. Отец Максим и сын Максим ушли – остался он, главный Максим, взявший это имя в честь первого и подаривший его второму, главный максималист русской литературы. И через два года, тоже весной, по возвращении в Москву с крымской дачи (в Тессели, близ Мисхора, где когда-то едва не умер от воспаления легких Лев Толстой), он заболел тяжелым гриппом – есть версия, согласно которой он простудился на могиле сына, посещая ее сразу по возвращении в Москву, перед отъездом в Горки.

Этот грипп привел к воспалению легких, а легкие у Горького к 1936 году были в таком состоянии, что профессор Плетнев находил жизнеспособными лишь десять-пятнадцать процентов всей легочной ткани. Удивительно было, как Горький сохранял способность ездить, работать, встречаться с бесчисленными посетителями, жечь свои любимые костры в Горках и Тессели (он был пироманом, обожал смотреть на огонь), отвечать на сотни писем, читать и править тысячи рукописей – он был тяжело болен все последние годы, и говорить о его отравлении мог только человек, об этом не знавший или не желавший знать. Понятно, зачем понадобилась эта версия Сталину: он должен был инсценировать раскрытие государственного переворота, который якобы готовил Ягода. Но зачем эта версия – правда, с другим главным фигурантом – публицистам постсоветской эпохи, понять решительно невозможно. На Сталине достаточно реальных грехов.

Он внимательно следил за состоянием Горького и, возможно, желал его скорейшей смерти: не исключено, что Горький ему действительно начинал мешать. Но здесь, кажется, скорее стоит согласиться с Александром Солженицыным, заметившим, что Горький воспел бы и тридцать седьмой: не из трусости даже, а просто в силу отсутствия других вариантов. Сам себя загнал в ситуацию, из которой выхода нет: только до конца идти со сталинизмом против фашизма, все громче обличая кровавых лавочников и их пособников. Уважать его можно по крайней мере за последовательность. Сталин приезжал к больному Горькому трижды – 8, 10 и 12 июня. Тут тоже много мрачного абсурда – как и в той ночи 11 мая 1934 года, когда Горький, пока его сын умирал, говорил со Сперанским об экспериментальной медицине и о бессмертии. Горький говорил со Сталиным о женщинах-

писательницах и их прекрасных книгах, о французской литературе и о положении французского крестьянства. Все это похоже на бред, да, может, он и бредил на самом деле. Иной вопрос – почему Сталин трижды, с таким незначительным интервалом, приезжает к нему. Торопит смерть? Не похоже, в его распоряжении был достаточный арсенал средств, чтобы ее ускорить, не появляясь у Горького лично и не навлекая на себя подозрений. Надеется сохранить? Известно же, что 8 июня его появление фактически спасло Горького – он задыхался, уже синел, но при появлении Сталина и Ворошилова значительно ободрился. Горький еще мог быть нужен Сталину – не обязательно для показательного процесса, в котором он мог быть фигурантом, но именно как посредник между западной интеллектуальной элитой и советской властью. Живой Горький был нужней мертвого, тем более что готовность служить задачам Сталина и одобрять его курс он продемонстрировал многократно. Правда, Сталин проявлял известную подозрительность – не выпустил Горького на конгресс защитников мира в 1935 году, – но Горький и сам туда не рвался, он хотел заканчивать «Самгина», понимая, что осталось ему немного, а главное, чувствовал себя весной 1935 года очень слабым. Трудно судить об истинных намерениях «Хозяина», как называли его все чаще, – но говорить о том, что Горький помешал бы провести процессы 1937 года, как минимум странно. Как раз заботой о жизни и здоровье Горького можно было объяснить устранение Ягоды – вот, недостаточно берег, погубил Максима, – и Горький принял бы эту версию, потому что она снимала бы вину за Максима с него самого.

Визиты Сталина не помогли. За день до смерти Горький сказал Липе Чертковой: «А я сейчас с Богом спорил… ух, как спорил!»

Через день, 18 июня, он закончил этот спор навеки. Или ушел доспорить лично – это уж кому как нравится.

15

После смерти он был канонизирован окончательно – похоронен в Кремлевской стене, внедрен в школьную программу, провозглашен величайшим из когда-либо живших в России писателей, творцом нового и лучшего из возможных художественного метода… Все это мало способствовало его серьезному изучению, адекватной интерпретации и читательской любви. Правда, изучение «Самгина» оставалось одной из немногих возможностей серьезно разговаривать о русской интеллигенции и вообще о предреволюционных умонастроениях. После перестройки, когда подпочвенные силы общества вырвались наружу, по выражению Льва Аннинского, с той же стремительностью и властностью, как в 1917 году, – отношение к нему повернулось на 180 градусов: его стали провозглашать певцом угнетения, сатрапом и чуть ли не маразматиком. Лишь на рубеже веков стало ясно, что в России в очередной раз победила не свобода, а новая, более изощренная форма угнетения; что борьба против тирании была на деле борьбой за торжество энтропии. Эта-то энтропия и стала сводить счеты с Горьким, очерняя идею революции как таковую, утверждая, что любая мечта о переустройстве общества приводит к катастрофе и большой крови, что человеку не нужно работать над собой и делать из себя сверхчеловека, а нужно как можно больше потреблять и как можно меньше при этом думать. Это разложение под видом свободы окончательно, казалось, похоронит и скомпрометирует горьковскую мечту о новых людях – бесстрашных, свободных, обладающих нечеловеческими интеллектуальными и физическими возможностями.

Но тут как раз выяснилось, что энтропия не менее убийственна, чем революция. Во многих отношениях она еще хуже – у революции есть хотя бы свои идеалисты, свои святые, а у распада и деградации их нет. Больше того: оказалось, что отказ от идеалов ведет не к мирному буржуазному существованию, а к стремительному скатыванию в пещерные времена. Нефтяная стабильность никого не обманывает – одичание идет полным ходом. Возвращение средневекового церковного догматизма, триумф невежества и лени оказываются немногим лучше сталинизма – правда, сажают меньше, но это дело поправимое, стабильность террору не помеха. Слова «Жить стало лучше, жить стало веселее» сказал именно Сталин, и именно в 1937 году. Тоже стабильность была.

Тут-то и оказывается, что Горький – обделенный вкусом,

неразборчивый в дружбах, тщеславный, часто ошибавшийся, склонный к самолюбованию и вранью при всем своем облике Буревестника и правдолюбца – мечтал о том, без чего человечество не сможет существовать: о новом типе человека, сочетающего силу и культуру, гуманность и решимость, волю и сострадание. И если его сочинения не могут подарить нам убедительный тип этого человека, то уж о том, какими не надо быть, они расскажут достаточно.

Ведь он обличал ту самую русскую жизнь, которую мы сегодня обожествляем под именем «национальной матрицы». Ведь он выступал против того, что мы сегодня считаем своей национальной спецификой. Ведь он учил не мириться, не соглашаться, не останавливаться – словом, вылезать из того болота, которое сегодня, после многих лет бурь и путаницы, выглядит таким уютным.

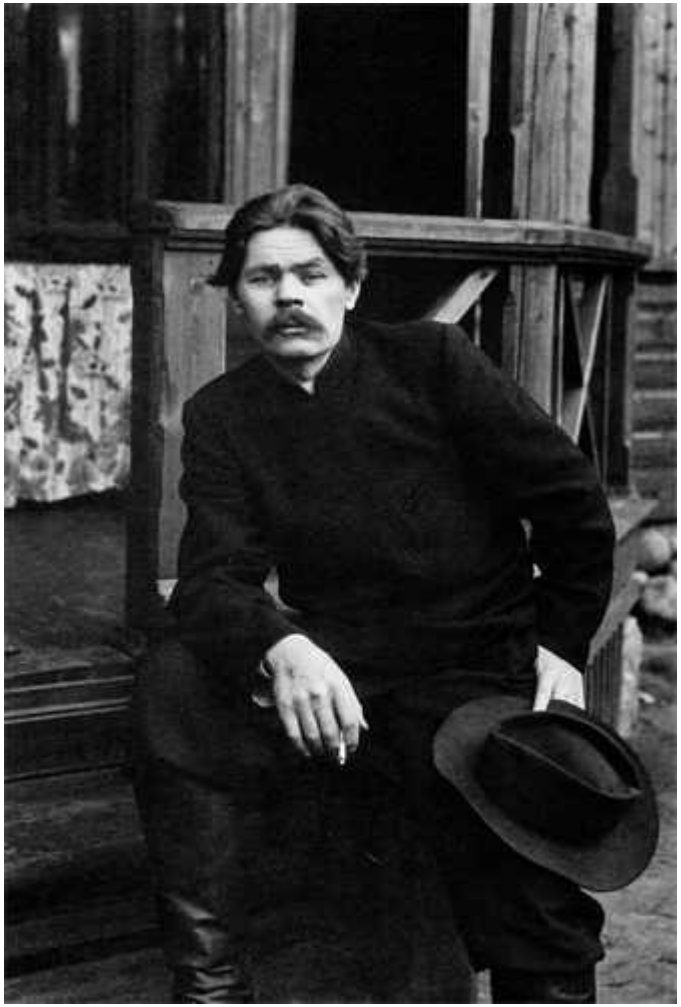
То, что личный путь Горького привел в тупик, – ровно ничего не доказывает. Лишь многочисленные Самгины могут радоваться его жизненной катастрофе, повторяя прекрасные слова Ужа: «Летай иль ползай, конец известен». Если пытаться летать – можно двадцать раз рухнуть в море, а на двадцать первый полететь. Но если всю жизнь ползать, ни до чего хорошего уж точно не доползешь.

Именно поэтому сегодня, на очередном переломе русского исторического пути, стоит помнить, читать и перечитывать странного, неровного и сильного писателя Максима Горького.

Хватит спрашивать себя, был ли Горький.

Он – был.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



«Лет с шестнадцати я живу приемником чужих тайн и мыслей… Ох, сколько я знаю и как это трудно забыть».

Алексей Пешков. Около 1886–1888 гг.

ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТЪ.

Кунавинское начальное училище, одобряя отличные предъ прочими успѣхи въ наукахъ и благонравіе ученика Алексѣя Пешкова Башлы наградило его симъ похвальнымъ листомъ, къ примѣру другимъ.

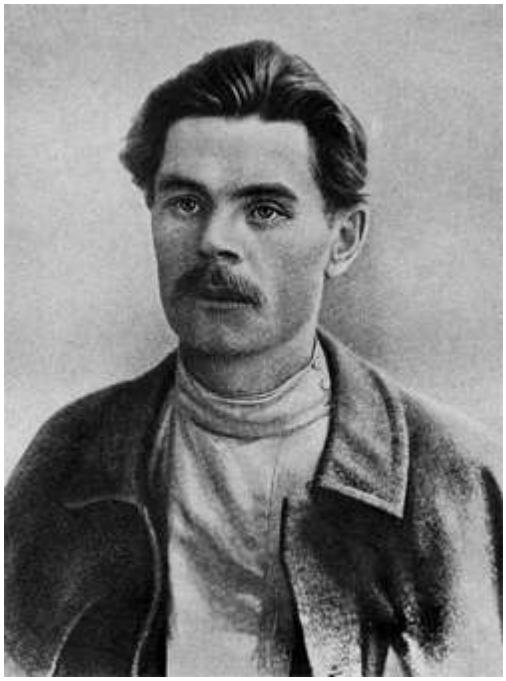
Дано № дня 1879 года.

Наше свинское Кунавинское

Похвальный лист Кунавинского начального училища. Вместо фамилии Пешков Алексей вписал свою кличку Башлык. Нижегородское слободское кунавинское расшифровал как «Наше свинское кунавинское»

Дом Кашириных, ныне музей. Нижний Новгород

Ольга Каминская с первым мужем. Конец 1880-х. Горький мечтал о ней три года, прожил в гражданском браке два и бросил после того, как она заснула, не дослушав только что написанную «Старуху Изергиль»



Иегудиил Хламида. Самара, 1896 г.

Редакция Самарской газеты. Горький – крайний справа. 1895 г.

Екатерина Пешкова – единственная законная жена Максима Горького, мать его детей. С 1921 по 1937 гг. она руководила Комитетом помощи политзаключенным – единственной легальной правозащитной организацией в Советской России

С сыном Максимом

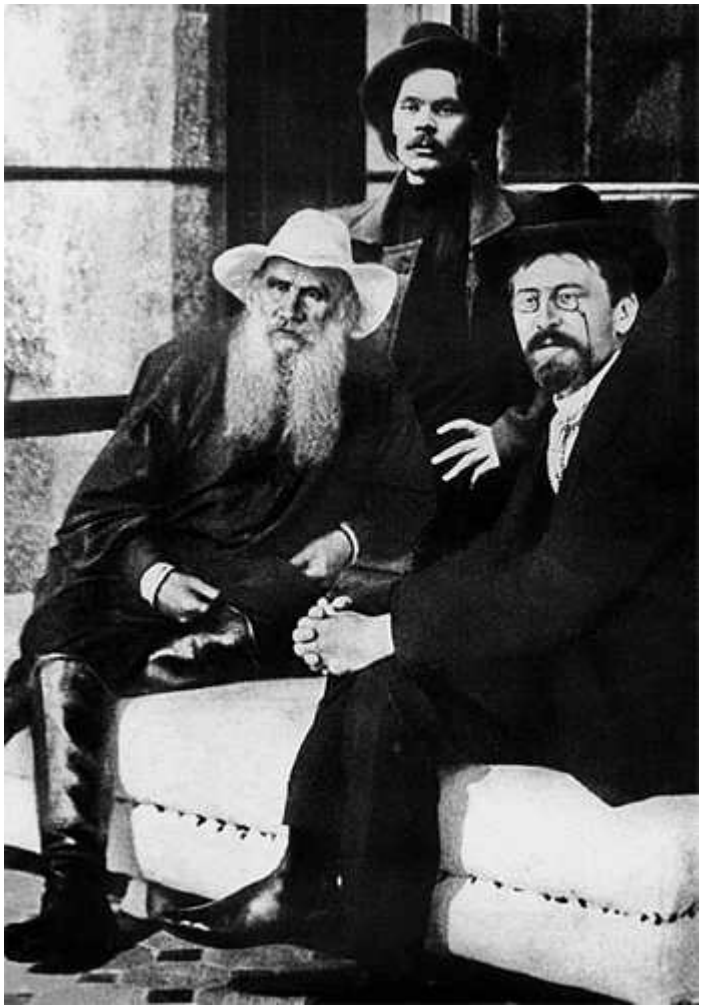
Дочь Катя, умерла в пятилетнем возрасте. Ялта, 1905 г.

Многим Максим казался вечным подростком, обожавшим автогонки и попойки, – но, судя по сохранившимся рисункам, был умным и злым карикатуристом, по-отцовски подмечавшим чужие слабости

Унаследовавший от Горького обаяние и артистизм, Максим всю жизнь оставался в его тени и, кажется, не слишком этим тяготился

Надежда Пешкова (Введенская), жена Максима. Романы с обаятельной и легкомысленной Тимошей (ее домашнее имя) приписывались многим из окружения Горького, в том числе чекистскому куратору горьковской семьи Генриху Ягоде

С первых шагов в литературе Горький был окружен заботой старших коллег – некоторые любили его искренне, другие боялись, что их заподозрят в зависти. Что до ровесников – те либо заискивали, либо ненавидели. Равнодушных не было



С А. Чеховым и Л. Толстым. Ялта, 1902 г.

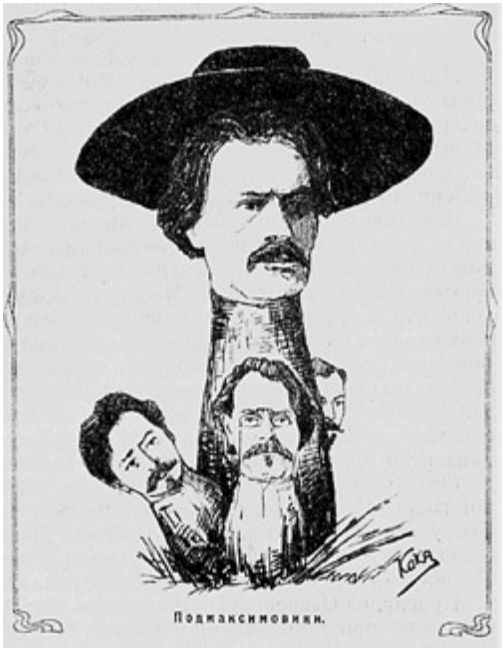
Л. Андреев с первой женой Александрой Михайловной. Ялта, 1902 г. Узнав о смерти Андреева, Горький сказал: «Как ни странно, это был мой единственный друг»

С И. Буниным и Н. Телешовым. С последним Горький создал товарищество «Среда». На «средах» бывали Бунин, Андреев, Куприн, Шаляпин

Парадокс в том, что Горький – певец городского дна – первым начал получать приличные гонорары и добился этой же

привилегии для коллег. Борис Зайцев отказывал Горькому в принадлежности к русской классической традиции на том основании, что к нему «липнут деньги»

М. Горький с К. Пятницким (в центре) возглавили издательство «Знание», в которое влились почти все литераторы из общества «Среда». Справа – С. Скиталец. 1901 г.



«Подмаксимовики». Карикатура Кока. «Искры», 1901 г.

Горький принес в литературу не только новые темы, но и новую моду: подражая ему, молодые литераторы надевали крылатки и широкополые шляпы, курили дешевые папиросы, принимались окать

С Ф. Шаляпиным. Их дружба омрачалась политическими разногласиями, но не профессиональной ревностью: Шаляпин не сочинял, Горький не пел

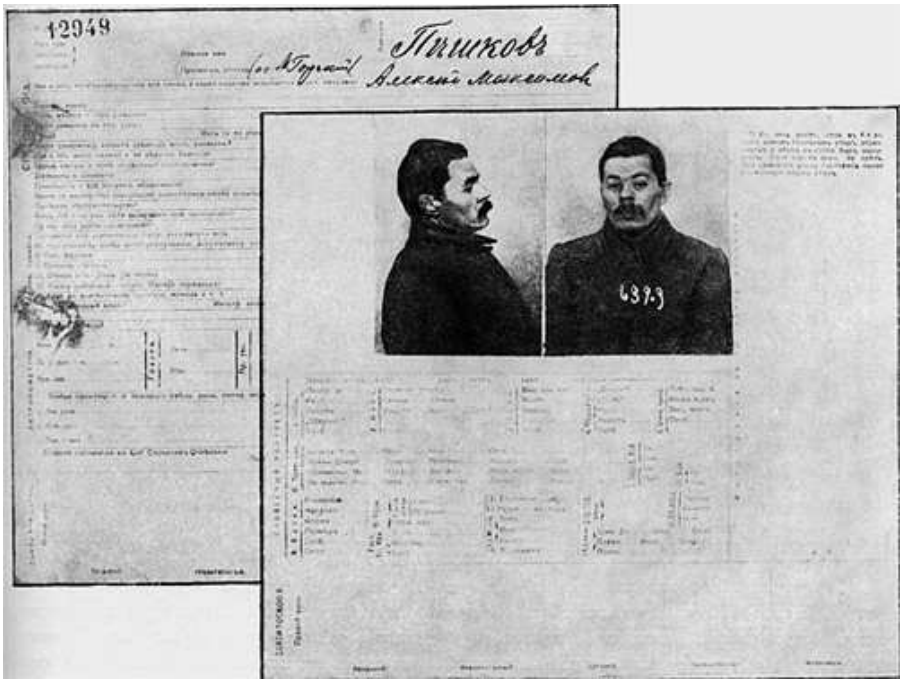
Горького с Художественным театром свел Чехов. Вскоре он стал там своим человеком, любимым автором, гражданским мужем ведущей актрисы и другом-соперником влюбленного в нее мецената

Горький и Мария Андреева позируют Репину. 1905 г. Актриса МХТ Андреева была признанной красавицей и убежденной марксисткой – у тогдашних красавиц это было модно

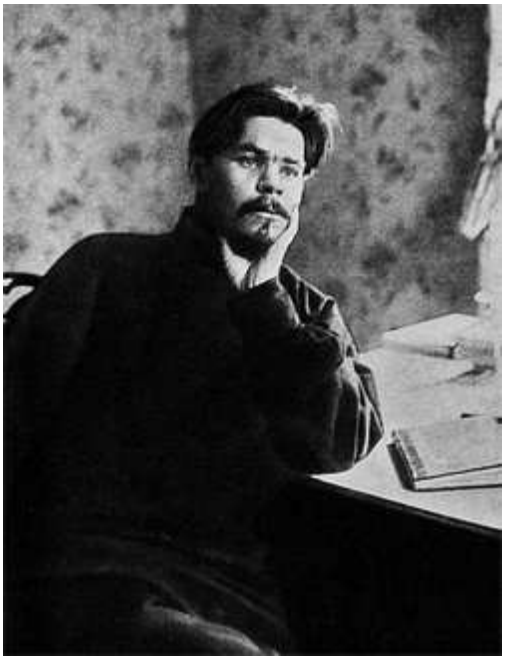
Станиславский и Немирович-Данченко в костюмах босяков в пьесе «На дне». 1903 г. Изучая натуру, труппа МХТ совершила экскурсию в трущобы Хитрова рынка, где от избиения их спас только виртуозный мат Гиляровского

Савва Морозов – купец-миллионер, владелец Никольской мануфактуры, меценат, поклонник МХТ и М. Андреевой

За распространение очерка о событиях 9 января 1905 года Горький оказался в Петропавловской крепости, но протесты и поручительства литературной и артистической России во главе с Толстым, а также личное заступничество нескольких европейских политиков, освободили его

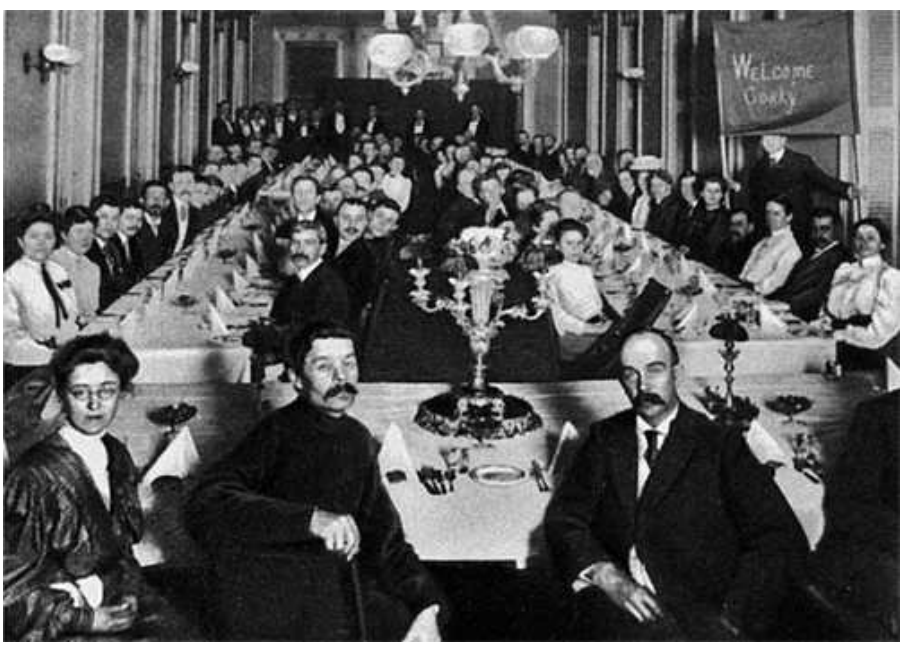


Регистрационная карточка арестанта Пешкова



В Трубецком бастионе с февраля по март 1906 года Горький написал драму «Дети солнца»

После разгрома первой русской революции Ленин решил спрятать Горького от неизбежного ареста. В Америке ему и Андреевой предстояло агитировать за русскую революцию и собирать на нее средства. Миссия вскоре провалилась – пуританская Америка возмутилась приездом четы, сожительствующей вне брака



С М. Андреевой (слева) на обеде в свою честь. Бостон, 1906 г.

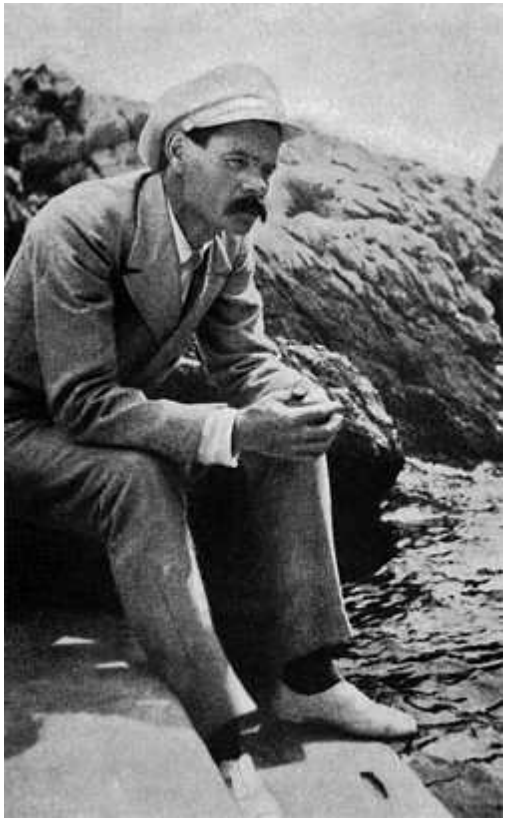
Справа плакат «Welcome Gorky» («Добро пожаловать, Горький»)

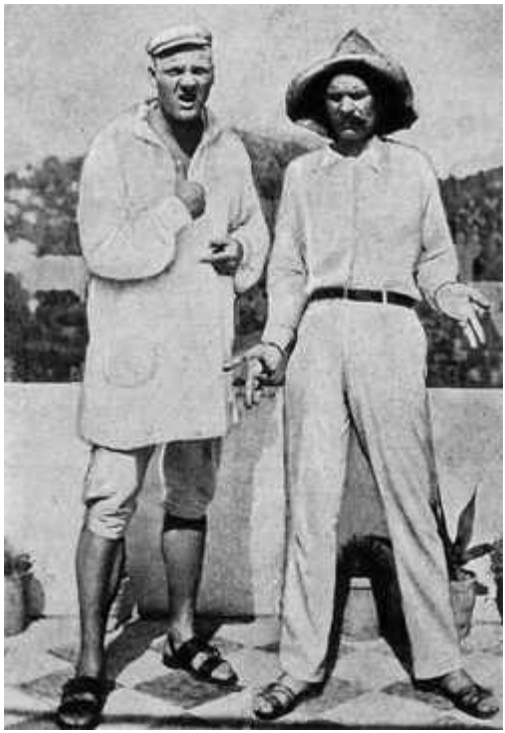
С приемным сыном Зиновием Пешковым (Свердловым). 1906 г. Любимое развлечение – живые картины

Поместье в горах Адирондак. Саммер-Брук, 1906 г. Здесь был написан роман «Мать»

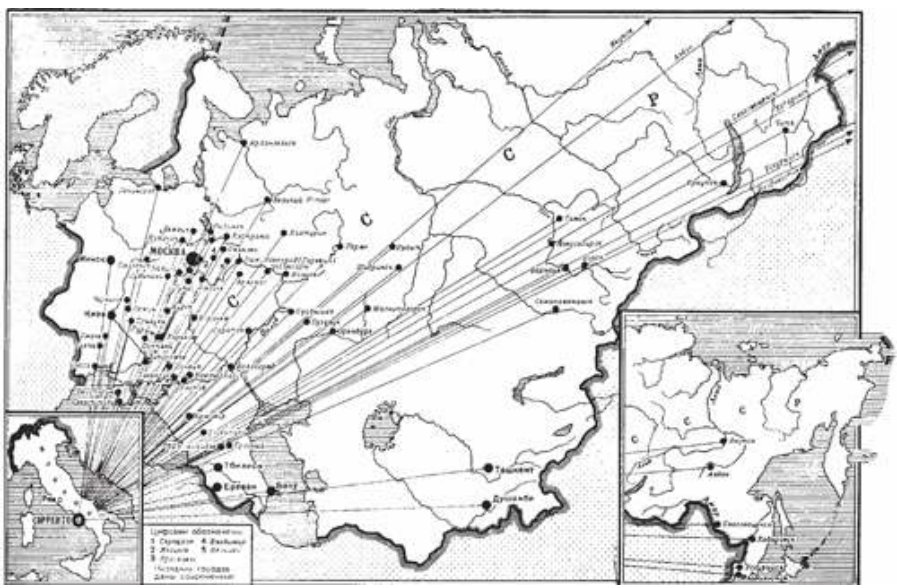
Приехав на Капри в 1906 году, Горький стал самым знаменитым обитателем этого острова. Сюда к нему съезжался цвет русской литературы, гостил и Ленин, попутно разгромивший

«каприйскую школу», в которой преподавали Горький, Богданов и Луначарский



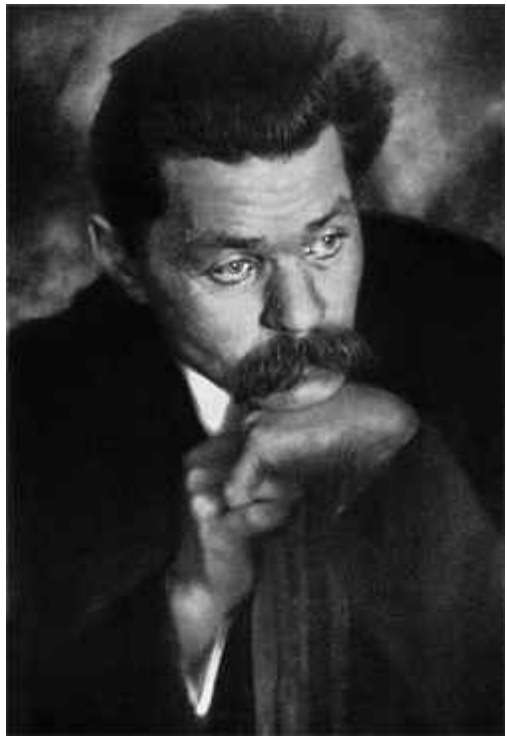


С Шаляпиным. Горький изображает итальянского босяка и, надо признаться, похож



Карта переписки Горького во время итальянского изгнания. Кажется, он не писал только глупым пингвинам в Антарктиду – прочие континенты были завалены его почтой

В 1913 году Горький вернулся в Россию и стал свидетелем февральской и октябрьской революций. «Радоваться мне нечему, пролетариат ничего и никого не победил. Опять культура? Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели»

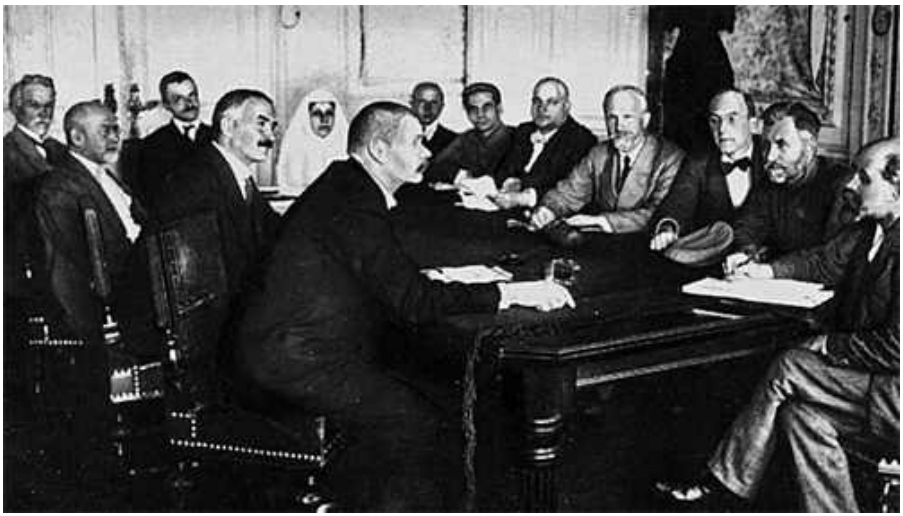


На российской границе в день приезда из Италии. 31 декабря 1913 г.

Чествование Горького в день его юбилея 16 марта 1919 г. Среди присутствующих – Блок, Гумилев, Чуковский – участники «Всемирной литературы», одного из горьковских «проектов»

На Втором конгрессе Коминтерна. Смольный, 19 июля 1920 г. В Ленине Горького завораживал оптимизм и готовность к активному действию – логичен, энергичен, целеустремлен

С писателем-фантастом Г. Уэллсом в горьковской квартире на Кронверкском. Петроград, октябрь 1920 г. Роллан, Уэллс и Цвейг – три ближайших друга Горького во всей европейской литературе: вкус хороший, хоть и несколько старомодный



На заседании Комиссии по улучшению быта ученых. Всю жизнь Горький организовывал издательства, затевал газеты и создавал общества по содействию деятелям культуры. Редкий из них удержался от соблазна в виде благодарности кинуть в него камень

Горький уехал в Италию после ленинских просьб, уговоров и прямых угроз в 1921 году. Он уезжал как политический эмигрант, а вернулся прославленным пролетарским классиком, призванным

увековечить осуществление своей многолетней мечты о новом человеке на новой земле

Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг, главная любовь Горького. Именно ей он посвятил роман «Жизнь Клима Самгина», а на рабочем столе держал слепок ее руки

1927 г. Горькому прочат Нобелевскую премию. До самой смерти он оставался одним из наиболее перспективных кандидатов на нее

Часто приезжали гости из Москвы. В. Катаев (слева) и Л. Леонов (справа)

«Мне необходимо побывать – невидимым – на фабриках, в деревнях, в пивных, на стройках, у вузовцев, в колониях для социально опасных детей… Когда я об этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от волнения»

Белорусский вокзал. Возвращение на родину. Москва, 4 мая 1931 г.

Трудовая колония им. М. Горького. Слева от писателя – А.С. Макаренко

С И. Лихачевым, первым «рабочим-директором» Страны Советов. 1931 г.

«Отчаянно много знаю я анекдотов. Я оброс ими, точно киль корабля моллюсками, и это мешает мне плыть к совершенной истине так быстро, как я хотел бы. Истина же необходима мне: как всякий уважающий себя человек, я хочу быть похороненным в приличном гробе»